

Людмила  
**УЛИЦКАЯ**

*Люди нашего царя*



18+

Людмила Улицкая  
**Люди нашего царя (сборник)**

«Издательство АСТ»

2005

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Улицкая Л. Е.**

Люди нашего царя (сборник) / Л. Е. Улицкая — «Издательство АСТ», 2005

ISBN 978-5-17-110813-7

Писатель работает с частным случаем: жизнь дает какой-то повод – и потом рождается сюжет. И однажды автор обнаруживает, что «разбит на тысячи кусков, и у каждого куска свой глаз, нос, ухо – в каждом осколке своя картинка». Герои этой книги собраны под одной обложкой единственно волей сочинителя: писательские дочери, обремененные своим происхождением, и девочки из послевоенных бараков, красавицы, которые несут свою красоту как непосильную ношу, и мечтательный слесарь, увлекшийся ни много ни мало учением Штайнера, и чудак Лёня, отец всем детям любимой им женщины...

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-110813-7

© Улицкая Л. Е., 2005  
© Издательство АСТ, 2005

## Содержание

Предисловие	6
Люди нашего царя	7
Путь осла	7
Приставная лестница	14
Коридорная система	17
Великий учитель	22
Дезертир	28
Кошка большой красоты	30
Том	36
Тело красавицы	40
Конец ознакомительного фрагмента.	44

**Людмила Улицкая**  
**Люди нашего царя (сборник)**

© Улицкая Л.Е.

© ООО «Издательство АСТ»

\* \* \*

## Предисловие

*Каких только людей нет у нашего царя!*  
**Николай Лесков**

Однажды обнаруживаешь, что тебя нет. Ты разбит на тысячу кусков, и у каждого куска свой глаз, нос, ухо. Зрение делается фасеточным – в каждом осколке своя картинка, слух – стереофоническим, а запахи свежее-го снега и общепита, перемешавшись с ароматами тропических растений и чужих подмышек, образуют какофонию.

С юности делаешь титанические усилия, чтобы собрать, сложить свое «я» из случайных, чужих, подобранных жестов, мыслей, чувств, и, кажется, вот-вот ты готов обрести полноту самого себя. Ты даже слегка гордишься своим достижением – оживил своей уникальной личностью некое имя-фамилию, дал этим ничего не значащим звукам свою индивидуальность, свои оригинальные черты.

И вдруг – крах! Куча осколков. Никакого цельного «я». Ужасная догадка: нет никакого «я», есть одни только дорожные картинки, разбитый калейдоскоп, и в каждом осколке то, что ты придумывал, и весь этот случайный мусор и есть «я»: слепой старик, наслаждающийся Бетховеном, красавица, безрадостно и тоскливо несущая свою красоту, две безутешные старухи и Женя – девочка, удивляющаяся глупости, тайне, лжи и прелести мира. Именно благодаря ей, Жене, своему представителю и посланнику, автор пытается избежать собственной, давно осточертевшей точки зрения, изношенных суждений и мнений, предоставив упомянутому осколку свободу независимого существования.

Автор остается посередине, как раз между наблюдателем и наблюдаемым. Он перестал быть себе интересен. В сущности, он сам в области наблюдения, не вовлечен и бескорыстен. Какая дивная игра открывается, когда расстояние от себя самого так велико! Замечаешь, что красота листьев и камней, и человеческих лиц, и облаков слеплена одним и тем же мастером, и слабое дуновение ветра меняет и расположение листьев относительно друг друга, и их оттенки. Рябь на воде приобретает новый узор, умирают старики и вылупляется молодежь, а облака тем временем преобразовались в воду, были выпиты людьми и животными и вошли в почву вместе с их растворившимися телами.

Маленькие люди нашего царя наблюдают эту картину, задрав голову. Они восхищаются, дерутся, убивают друг друга и целуются. Совершенно не замечая автора, которого почти нет.

## Люди нашего царя

### Путь осла

Шоссе протекало через тоннель, выдолбленный в горе перед Первой мировой войной, потом подкатывалось к маленькому городку, давало там множество боковых побегов, узких дорог, которые растекались по местным деревням, и шло дальше, в Гренобль, в Милан, в Рим...

Перед въездом в тоннель мы свернули с автострады на небольшую дорогу, которая шла по верху горы. Марсель обрадовался, что не пропустил этот поворот, как с ним это не раз случалось, – съезд этот был единственный, по которому можно попасть на старую римскую дорогу, построенную в первом веке. Собственно говоря, большинство европейских автострад – роскошных, шестирядных, скоростных – лежит поверх римских дорог. И Марсель хотел показать нам ту ее небольшую часть, которая осталась в своем первоизданном виде. Невзрачная, довольно узкая – две машины едва расходятся – мощеная дорога от одного маленького городка до другого после постройки тоннеля была заброшена. Когда-то у подножия этой горы была римская станция курьерской почты, обеспечивавшей доставку писем из Британии в Сирию. Всего за десять дней...

Мы поднялись на перевал и вышли из машины. Брусчатка была уложена две тысячи лет тому назад поверх гравиевой подушки, с небольшими придорожными откосами и выпуклым профилем, почти сгладившимся под миллионами ног и колес. Нас было трое – Марсель, лет пять как перебравшийся в эти края пожилой адвокат, толстая Аньес с пышной аристократической фамилией и с явно дурным характером и я.

Дорога шла с большим подъемом, и в такой местности всегда растворено беспокойство, возникает какая-то обратная тяга – та самая, которая вела римлян именно в противоположном направлении – на север, на запад, к черту на рога, к холодным морям и плоским землям, непроходимым лесам и непролазным болотам.

– Эти дороги рассекли земли сгинувших племен и создали то, что потом стало Европой... – говорил Марсель, красиво жестикулируя маленькими руками и потряхивая седыми кудрями. На аристократа был похож он, сын лавочника, а вовсе не Аньес с ее маленьким носиком между толстых красных щек.

– Ты считаешь, что вот это, – она указала коротким пальцем себе под ноги, – и есть римская дорога?

– Ну, конечно, я могу показать тебе карты, – живо отозвался Марсель.

– Или ты что-то путаешь, или говоришь глупости! – возразила Аньес. – Я видела эти старинные дороги в Помпеях, там глубокие колеи, сантиметров по двадцать камня выбито колесами, а здесь смотри, какая плоская дорога, нет даже следов от колеи!

Спор между ними – по любому поводу – длился уже лет двадцать, а не только последние три часа, что мы провели в машине, но я об этом тогда не знала. Теперь они крупно поспорили о колеях: Марсель утверждал, что дороги в черте города строились совершенно иным образом, чем вне города, и на улицах города колеи специально вырезались в камне – своего рода рельсы, – а вовсе не выбивались колесами.

Вид с перевала открывался почти крымский, но было просторней, и море подальше. Однако заманчивая дымка на горизонте намекала на его присутствие. Отсюда, с перевала, виднелась благородная линовка виноградников и оливковые рощи. Осыпи поддерживались косой клеткой шестов и системой террас.

У самых ног стояли высохшие, уже ломкие столбики шалфея, стелился по земле древо-видный чабрец, и поодаль пластался большой куст отцветшего каперса.

Мы вернулись к машине и медленно поехали вниз. Марсель рассказывал, чем греческие дороги отличались от римских – греки пускали через горы осла, и тропу прокладывали вслед его извилистому пути, а римляне вырубали свои дороги напрямую, из пункта А в пункт В, срезая пригорки и спуская попадавшиеся на пути озера... Аньес возражала.

Деревушка, куда мы ехали, была мне знакома: несколько лет тому назад я провела в ней три дня – в одном из близлежащих городов проходил тогда фестиваль, и мне предложили на выбор номер в городской гостинице или проживание в этой крошечной деревушке. И я определилась на постой в старинный крестьянский дом, к Женевьев. Всё, что я тогда увидела, меня глубоко поразило и тронуло. Женевьев оказалась из поколения парижских студентов шестьдесят восьмого года, побывала и в левых, и в зеленых, и в травных эзотериках, заглывала последовательно все наживки, потом рвалась прочь, и к тому времени, когда мы с ней познакомились, она была уже немолодая женщина крестьянского вида, загорелая, с сильными синими глазами, счастливо одинокая. Сначала она показалась мне несколько заторможенной, но потом я поняла, что она пребывает в состоянии завидного душевного покоя. Она уже десять лет жила в этом доме, который был восстановлен ею собственноручно, и здесь было всё, что нужно душе и телу: горячая вода, душ, телефон, безлюдная красота гор, длинное лето и короткая, но снежная зима.

Совершенного одиночества, которого искала здесь Женевьев, было в избытке, хотя с годами оно делалось менее совершенным: когда она нашла это место, здесь было четыре дома, из которых два были необитаемы, а два других принадлежали местным крестьянам – один сосед, кроме виноградника, держал механическую мастерскую, а у второго было стадо овец. Женевьев купила один из пустующих домов. Механик и пастух не нарушали вольного одиночества Женевьев, встречаясь на дорожке, кивали ей и в друзья не навязывались.

Механик был неприветлив и с виду простоват. Пастух был совсем не прост – он был монах, провел в монастырском уединении много лет и вернулся домой, когда его старики родители обветшали.

Часовенка, стоявшая между четырьмя домами, была закрыта. Когда я к ней подошла и заглянула в окошко, то увидела на белой стене позади престола рублевскую Троицу. Женевьев, атеистка на французский интеллектуальный манер, объяснила мне, что монах этот весьма причудливых верований, склонен к православию, не пользуется благосклонностью церковного начальства и, хотя в этой округе большой дефицит священников, его никогда не приглашают в соседние пустующие храмы, и он служит мессу изредка только в этой игрушечной часовне – для Господа Бога и своей матери. Семья механика на его мессу не ходит, считая ее «неправильной»... Я тогда подумала, что странно так далеко уехать из дому, чтобы столкнуться с проблемами, которые представлялись мне чисто русскими. Впрочем, пастуха я в тот год не увидела, поскольку он пас свое стадо где-то в горах...

К Женевьев изредка приезжали погостить взрослые дети – сын и дочь, с которыми особенной близости не было, – и знакомые. Она радовалась им, но также радовалась, когда они уезжали, оставляя ее в одиночестве, до отказа заполненном прогулками, медитацией, йоговскими упражнениями, сбором ягод и трав, работой в небольшом огороде, чтением и музыкой. Прежде она была преподавательницей музыки, но только теперь, на свободе, научилась наслаждаться игрой для себя, бескорыстной и необязательной...

Совершенство ее умеренного одиночества дало первую трещину, когда приехавший ее навестить первый муж с новой семьей, влюбившись в это место, решил купить последний пустующий дом. Он разыскал наследников, и они охотно продали ему то, что еще осталось от давно заброшенного строения. Дом был восстановлен, и новые соседи жили там только на каникулах, были деликатны и старались как можно меньше беспокоить Женевьев.

Второй удар был более ощутим: Марсель, ее верный и пожизненный поклонник, с которым она прошла все фазы отношений, – когда-то Женевьев была его любовницей, позднее,

когда от него ушла жена, отказалась выйти за него замуж и вскоре бросила его ради какого-то забытого через месяц мальчишки, потом они многие годы дружили, помогали друг другу в тяжелые минуты. Вдруг, ни слова ей ни говоря, Марсель уехал на работу в Таиланд. Позже она навестила его там, и отношения их как будто снова освежились, но потом Женевьев уехала в Париж и исчезла из поля зрения Марселя на несколько лет. Вернувшись в Париж, Марсель ее разыскал и был поражен произошедшей в ней переменой, но в новом, отшельническом образе она нравилась ему ничуть не меньше. И тогда он решил поменять свою жизнь по образцу Женевьев и купил себе заброшенную старинную усадьбу в полутора километрах от ее дома. Каменная ограда и большие приусадебные службы этого самого значительного строения во всей округе были видны из окна верхнего этажа дома Женевьев...

Мы приехали несколько позднее, чем рассчитывали. Перед въездом в деревню какое-то довольно крупное животное мелькнуло в свете фар, перебегая дорогу. Аньес, мгновенно проснувшись, закричала:

– Смотрите, барсук!

– Да их здесь много. А этого парня я знаю, его нора в трехстах метрах отсюда, – остудил ее Марсель.

Уже стемнело. В доме горел свет. Дверь была открыта, белая занавеска колыхнулась, из-за нее появилась Женевьев.

Мы вошли в большое сводчатое помещение неопределенного назначения. Своды были слеплены изумительно асимметрично, кое-где торчали крюки – их было шесть, и падающие от них тени ломались на гранях прихотливого потолка. Никто не знал, что на них прежде висело.

Нас ждали – был накрыт стол, но гости сидели в другой части помещения, возле горящего камина. В мужчине, похожем на престарелого ковбоя, я сразу же угадала бывшего мужа Женевьев, молодая худышка с тяжелой челюстью и неправильным прикусом была, несомненно, его вторая жена. Девочка лет десяти, их дочь, унаследовала от отца правильные черты лица, а от матери диковатую прелесть. В кресле, покрытом старыми тряпками – не то шальями, не то гобеленами, – сидела немолодая негритянка в желтом тюрбане и в платье, изукрашенном гигантскими маками и лилиями. Пианино было открыто, на подставке стояли ноты, и было ясно, что музыка только что перестала звучать... Огонь в камине шевелил тени на стенах и на сводчатом потолке, и я усомнилась, не выскочила ли я из реальности в сон или в кинематограф...

С дороги мы умылись. Вода шла из крана, но рядом на столике стоял фарфоровый умывальный таз и кувшин. Занавески перед душевой кабиной не было, возле нее стояла бамбуковая ширма. Ветхое, в настоящих заплатах полотенце висело на жестяном крюке. Прикосновение талантливых рук Женевьев чувствовалось на всех вещах, подобранных на чердаке, в лавке старьевщика и, может быть, на помойках. Видно было, что вся обстановка дома – восставшая из праха.

Смыв дорожную пыль, мы перецеловались европейским двукратным поцелуем воздуха, и Женевьев пригласила к столу. Большой стол был покрыт оранжевой скатертью, в овальном блюде отливало красным золотом пюре из тыквы, в сотейнике лежал загорелый кролик, охотничий трофей Марселя, а между грубыми фаянсовыми тарелками брошены были ноготки, горькие цветы осени. На покрытой салфеткой хлебнице лежали тонкие пресные лепешки, которые в железной печурке пекла Женевьев, никогда не покупавшая хлеба. Вино к ужину принес из своих сокровенных запасов Жан-Пьер, ее бывший муж, большой знаток и ценитель вин. Он разлил вино в разномастные бокалы, негритянка Эйлин осторожно разломилла лепешку – ногти у нее были невиданной длины, завивающиеся в спираль и сверкающие багровым лаком, – и раздала гостям. Марсель поднял руки и сказал:

– Как хорошо!

Женевьев, раскладывая оранжевую еду на тарелки, улыбалась своей буддийской улыбкой, обращенной скорее внутрь, чем наружу. Никакого французского застольного щебетания не происходило, все говорили тихо, как будто боясь потревожить тайную торжественность минуты.

Вторая жена Жан-Пьера, Мари, вышла и через минуту принесла из внутренних комнат ребенка, о котором я еще ничего не знала. Он был сонный, жмурился от света и отворачивал маленькое личико. Ему было годика три. Ручки и ножки его висели, как у тряпичной куклы. Мари поднесла к его рту бутылочку с соской. Взять в руки он ее не мог, но сосал – медленно и неохотно.

Девочка Иветт подошла к матери и тихонько о чем-то попросила. Мать кивнула и передала ребенка ей на руки. Она его взяла, как берут священный сосуд...

Жан-Пьер смотрел на малыша с такой нежностью, что совершенно перестал походить на отставного ковбоя...

Женевьев сказала мне:

– Это Шарль, наш ангел.

Он не был похож ни на херувима, ни тем более на купидона. У него было остренькое худое личико и светлые, малоосмысленные глаза. Ангелов я представляла себе совсем иначе...

Я подняла бокал и сказала:

– Я так рада, что снова сюда добралась, – хотела сказать «друзья», но язык не повернулся. Всех, кроме Женевьев, я видела сегодня в первый раз. Включая и Марсея с Аньес, которые сегодня утром заехали за мной в Экс-ан-Прованс.

Но в воздухе происходило нечто такое, что они мне в этот момент были ближе друзей и родственников, возникла какая-то мгновенная сильнейшая связь, природу которой не могу объяснить.

Мы ели и пили, и тихо разговаривали о погоде и природе, о тыкве, которую вырастила Женевьев на своем огороде, о барсуке, жившем неподалеку, о дроздах, которые склевывают созревшие ягоды. Потом Женевьев подала сыр и салат, и я догадалась, что она специально ездила в город на рынок за салатом – она жаловалась, что на ее огороде салат не растет: слишком много солнца. Я знала, что Женевьев живет на крохотную пенсию, покупает обычно муку, рис, оливковое масло и сыр, а всё прочее выращивает на огороде или собирает в лесу.

Мальчик спал на руках у отца, а потом его взяла негритянка Эйлин, и он не проснулся.

Иветт подошла к Женевьев, обняла ее, что-то шепнула ей на ухо, и та кивнула.

Все снова переместились к камину, и Женевьев сказала, что теперь Иветт немного поиграет нам из той программы, которую готовит к Рождеству. Девочка села на стул, Женевьев ее подняла и, сняв с полки две толстые книги, положила их на сиденье стула. Девочка долго усаживалась, ерзая на книгах, пока Женевьев не положила сверху на книги тонкую бархатную подушку с кистями. Женевьев раскрыла ноты, что-то прошептала Иветт, та отвела за уши коричневые волосы, засунула челку под красный обруч на голове, уложила руки на клавиатуру и, глубоко вдохнув, ударила по клавишам.

Из-под детских рук выбивались звуки, складывались в наивную мелодию, и Женевьев запела неожиданно высоким, девчачьим голосом, приблизительно такие слова: «Возьми свою гармошку, возьми свою свирель... нет, скорее, флейту... сегодня ночью рождается Христос...» По-французски это звучало сладчайшим образом.

Шарль проснулся, Эйлин положила его себе на колени, поглаживая по спинке, и он свис вниз ручками, ножками и головой. Головку он не держал. Мари с тревогой посмотрела в сторону ребенка, но Эйлин поняла ее беспокойство и подложила под его подбородок ладонь, и он улыбнулся рассеянно и слабо. Или это сократились непроизвольно прижатые пальцами Эйлин лицевые мышцы... Эйлин тоже улыбнулась – лицо ее показалось мне в это мгновение смутно знакомым.

Они пели дуэтом, Женестье и Иветт, согласованно и старательно открывая рты и потряхивая головами в такт нехитрой музыке. Под конец что-то сбилось в их пении: слов оказалось больше, чем музыки. Голос Женестье одиноко повис в полумраке комнаты, а Иветт кинулась ее догонять, но смазала. Смешалась – и все засмеялись и захлопали. Иветт засмушалась, хотела встать, заерзала на подушке, красные кисти зашевелились: в просветах между кистями я заметила заглавия толстых книг – «История наполеоновских войн» и «Библия». Я давно уже смотрела во все глаза: маленькие детали – оранжевый стол, багровые ногти Эйлин, эти золотые буквы – были столь яркими и выпуклыми, что было жалко потерять хоть крупичицу...

Женестье перелистала ноты, и Иветт заиграла какое-то баховское переложение для детей так тщательно и строго, так чисто и с таким чувством, что Бах остался бы доволен. Эйлин поглаживала по спинке малыша и покачивала его на колене. Мужчины попивали кальвадос, выражая знаки одобрения друг другу, музыкантам и напитку. Мари тихо радовалась скромным успехам дочки, но еще больше радовалась Женестье:

- Мы начали заниматься прошлым летом, от случая к случаю, и видишь, какие успехи!
- Да, Женестье, это потрясающе.

Потом Женестье села за пианино, а Иветт встала за ее спиной – переворачивать ноты. Играла она какую-то жалостную пьесу. Мне показалось, Шуберта.

Марсель тем временем достал футляр, лежавший за одним из многочисленных столиков, и вынул кларнет.

- Нет, нет, мы так давно не играли, – замахала руками Женестье, но Иветт сказала:
- Пожалуйста, я тебя очень прошу...

Женестье подчинилась нежной просьбе. «Господи, да они обожают друг друга, эта девочка и независимая, пытавшаяся удалиться от людей Женестье, вот в чем дело!» – догадалась я наконец.

Был вытащен пюпитр, задвинутый за один из столиков. Марсель протер тряпочкой инструмент, прочистил ему горло, издав несколько хромых звуков. Иветт уже перебирала ноты на этажерке – она знала, что искать. Вытащила какие-то желтые листы:

- Ну, пожалуйста...

Аньес, болтавшая всю дорогу от Экс-ан-Прованс, молчала с того момента, как мы вошли в дом. Когда Марсель взялся за инструмент, она произнесла первые слова за весь вечер:

- Я думала, ты уже не балуешься кларнетом.
- Очень редко! Очень редко! – как будто оправдывался Марсель.

– Нет, Аньес, как бы мы ни хотели, ничего не меняется. Марсель всё еще играет на кларнете, – многозначительно заметила Женестье.

Эйлин переложила малыша: теперь она прижала его спинкой к своей груди, уложив головку в шелковом распадке.

Они начали играть, и сразу же сбились, и начали снова. Это была старинная музыка, какая-то пастораль восемнадцатого века, кларнет звучал неуверенно, и сначала Женестье забивала его, но потом голос кларнета окреп, и к концу пьесы они пришли дружно и согласованно. Эта самодельная музыка была живая и обладала каким-то особым качеством, какого никогда не бывает у настоящей, сделанной профессионалами. В ней звучал тот трепетный гам, который слышишь всегда, проходя по коридору музыкальной школы, но никогда – на бархатном сиденье в консерватории.

Мари хотела взять из рук Эйлин ребенка, но та покачала головой. И неожиданно для всех встала, прижимая к себе Шарля, и запела. И как только она запела, я ее сразу узнала: это была знаменитая певица из Америки, исполнительница спиричуэлз. Она тоже участвовала в этом фестивале, на который я приехала во второй раз, и ее портрет был напечатан в программке. В ее огромном низком голосе, богатом звериными оттенками, была такая интимность и интонация личного разговора, что дух домашнего концерта не разрушался. Потолочные своды, неизвестно

для чего устроенные в этом помещении, имевшем в прежней жизни какое-то специальное и загадочное назначение, принимали в себя ее голос и отдавали обратно еще более мощным и широким. Ее большое тело в водопаде шелковой материи двигалось и раскачивалось, и раскачивались огромные цветы, и ее руки с безумными ногтями, и красный рот с глубокой розовой изнанкой в окантовке белых зубов, и Шарль, которого она прижимала к груди, тоже раскачивался вместе с ней. Он проснулся и выглядел счастливым на волнуемом корабле черного тела в малиновых маках и белых лилиях...

“Amazing grace” она пела, и эта самая милость сходила на всех, и даже свечи стали гореть ярче, а Жан-Пьер обнял за плечи Мари, и сразу стало видно, что она молодая, а он старый... Эйлин колыхалась, и тряпичные руки и ноги мальчика тоже слегка колыхались, но голова его удобно покоилась в углублении между гигантскими грудями. Иветт, сидя у Женевьев на коленях, подпрыгивала тощими ногами в такт, а Аньес, уменьшившись от присутствия Эйлин до совершенно нормальных размеров, уложила свои свисающие щеки на руки и лила атеистические слезы на этот старомодный американский псалом. Эйлин закончила пение, покружила малыша вокруг себя, и все увидели, что он улыбается. И она опять запела – “When the Saints go marching in...”, и святые должны были бы быть беспросветно глухими, если бы не поспешили сюда, – так громко она их призывала.

В общем, несмотря на совершенно неподходящее время года, происходило Рождество, которое случайно началось от смешной детской песенки Иветт. Эйлин кончила петь, и все услышали стук в дверь, которого раньше не могли расслышать из-за огромности ее пения.

– Войдите.

Такое бывает только в сказке – можно было бы сказать. Но я-то знаю, что такого не бывает в сказках – только в жизни. На пороге стоял сосед-пастух. Он был в серой суконой куртке, из ворота клетчатой рубахи торчала загорелая морщинистая шея, а на руках он держал не новорожденного, а довольно большого уже ягненка.

– О, l’agneau! – сказала Иветт. – L’agneau!

Пастух жмурился от яркого света.

– Простите, я вас побеспокоил, мадам Бернар. У вас гости... Я два дня искал ягненка, а он упал, когда я гнал стадо возле ручья. Сломал ногу, и я вот только что нашел его. Лубок я ему уже наложил, но у него воспаление легких, он еле дышит, я пришел спросить, нет ли у вас антибиотика.

Ягненок был белый и почти плюшевый, но настоящий. К одной ноге была прибинтована щепка, мордочка и внутренность ушей была розовой, а глаза отливали зеленым виноградом.

– О, l’agneau! – всё твердила Иветт, и она уже стояла рядом с пастухом, смотрела на него умоляюще – ей хотелось потрогать ягненка.

– О боже! – расстроилась Женевьев. – Я не принимаю антибиотики. У меня ничего такого нет...

– У меня есть! Есть! – вскочила Мари и побежала в соседний дом. Ее муж последовал за ней. Иветт, приподнявшись на цыпочки и переминаясь с ноги на ногу, гладила волнистую шерсть. Пастух стоял, как чурбан, не двигаясь с места.

– Вы присядьте, брат Марк, – предложила Женевьев, но он только покачал головой.

Эйлин поднесла Шарля к ягненку, повторила вслед за девочкой:

– L’agneau! L’agneau!

– L’agneau, – сказал малыш.

Женевьев зажала себе рот рукой.

– L’agneau, – еще раз сказал малыш, и сестра услышала. Замерла – и тут же завопила: – Женевьев! Мама! Женевьев! Он сказал «ягненок»!

Вошла Мари с коробочкой в руке.

– Мама! Шарль сказал «ягненок»!

– L'agneau! – повторил малыш.

– Заговорил! Малыш сказал первое слово! – торжественно провозгласил Марсель. Аньес плакала новыми слезами, не успев осушить тех, музыкальных.

Эйлин передала малыша на руки матери...

Я тихо открыла дверь и вышла. Я ожидала, что всё будет бело, что холодный воздух обожжет лицо и снег заскрипит под ногами. Но ничего этого не было. Осенняя ночь в горах, высокое южное небо, густые травяные запахи. Теплый ветер с морским привкусом. Преувеличенные звезды.

И вдруг одна, большая, как яблоко, прочертила всё небо из края в край сверкающим росчерком и упала за шиворот горизонта.

Происходило Рождество – я в этом ни минуты не сомневалась: странное, смещенное, разбитое на отдельные куски, но все необходимые элементы присутствовали: младенец, Мария и ее старый муж, пастух, эта негритянская колдунья с ногтями жрицы Вуду, со своим божественным голосом, присутствовал агнец, и звезда подала знак...

Рано утром Марсель отвез Эйлин на выступление. Аньес, старинная подруга Женевьев, спала в верхней комнате, а мы с Женевьев пили липовый чай с медом. Цвет липы Женевьев собирала в июне, и мед был тоже свой, из горных трав. Мы обсуждали вчерашнее событие. Я пыталась сказать ей, что мы как будто пережили Рождество, что вчерашний вечер содержал в себе все атрибуты Рождества, кроме осла...

– Да, да, – кивала Женевьев, – ты совершенно права, Женя. Но осел тоже был. Знаешь, в этом доме жила когда-то одна старуха. Она была героическая старуха, жила одна, была хромяя, ездила на мотоцикле. Всей скотины был у нее один осел. Потом старуха умерла, приехал из Парижа ее сын, провел здесь отпуск, а перед отъездом хотел отвести осла к брату Марку, но осел не пошел – хоть убей. Упрямое животное, как и полагается. Тогда уговорились, что брат Марк будет носить ему сено и оставлять воду. И осел прожил зиму один. Летом приезжал сын старухи, и опять осел не пошел к брату Марку, и еще одну зиму прожил один. Три года жил осел. Потом умер от старости. Сарайчик его и сейчас стоит. Дом этот все местные жители так и звали: дом Осла.

В сущности, никакого чуда не произошло. Шарль действительно заговорил. Поздно, в три года, когда уже и ждать перестали. Потом он научился говорить еще довольно много слов. Но ни руки, ни ноги... Заболевание это вообще не лечится. Малыш был обречен. Да и ягненок со сломанной ногой тоже не выжил, умер на следующий день, и антибиотик не помог. Но если не чудо, то ведь что-то произошло в ту осеннюю ночь. Что-то же произошло?

Да, и самое последнее: Марсель повез Эйлин в фестивальныи городок и показал ей римскую дорогу. Но это не произвело на нее ни малейшего впечатления – она вообще ничего не знала про римские дороги. Это довольно естественно: к африканцам, даже американским, христианство шло совсем иными путями.

## Приставная лестница

Барак, в котором жили Лошкаревы, именовался строением номер три и был частично двухэтажным. Половина второго этажа и лестница сгорели еще в войну, и не от бомбы, а от печи. И с тех пор в сохранившуюся часть второго этажа залезали по приставной лестнице, укрепленной Лошкаревым сразу после госпиталя. Граня привезла мужа Василия осенью и втащила его на второй этаж на своем горбу. А он гремел орденами, прицепленными на гимнастерку. Лестница стояла шатко, иногда ребята ее ради шутки сбрасывали, и тогда Граня или ее дочь Нина кричали, чтоб лестницу приставили обратно к стене.

Ноги Василию оторвало почти под корень, но руки зато у него были золотые. И силищи необыкновенной. Он, когда трезв был, на руках по лестнице поднимал свое широкое туловище, только тележку и толкалки – деревянные чурбаки, обтесанные под свою руку, – оставлял под лестницей, и потом их Граня поднимала наверх.

Лестницу он в ту же неделю, как приехал, прикрепил к стене, и никто уже не мог ее сдвинуть. Нине было шесть лет, когда отец появился, и она сначала испугалась, а потом обрадовалась: они Лошкаревыми были не даром – отец ножичком ей вырезал медведя, лошадку, пушечку, которая спичками стреляла... И ложек, конечно, вырезал множество: и больших, и малых, и для котла, и для сольницы. Он не ножом их вырезал, а сначала топором слегка деревяшку обтесывал, а потом кривым и острым лошкариком снимал лишнее...

По воскресеньям Граня брала Нинку на Тишинский рынок – ложки продавать. Там была толкотня, покупали их товар плохо, и мать велела Нинке торговать, потому что Нина была красива, и у нее лучше ложки брали. Граня тоже была красива, но красота ее была дальнего вида, а вблизи замечалась порча – лицо ее было покрыто крупной рябью, как лужа в начале дождя. Рывины были глубокие и на лбу, и на щеках, и на шее было несколько оспин, а на теле – ни одной. Нина в бане всегда разглядывала материнское гладкое белое тело и думала, что пусть бы лучше оспины были у матери под одеждой.

Отец был чудной, не как у всех, пол-отца ей досталось: он, когда на своей тележке сидел, ростом был с Нинку. Трезвый он был ласковый, но когда выпивал, то сильно шумел и с матерью дрался. Когда он мать бил, она кричала, и Нинка тогда отца ненавидела. Правды ради надо сказать, что Нинку отец никогда не бил. Но мать его все равно любила, всё вокруг него бегала, картошку жарила и водкой его поила, и прыгала над ним и днем, и ночью, когда спать ложились. Напрыгала Нинке брата Петьку.

Нина его полюбила. Научилась нянчить его, пеленать и кормить, когда он кашу стал есть. Потом с детской кухни стали давать ему молоко, и Нинка, хоть одна в детскую кухню в Дегтярный переулочек ходила, ни разу Петькиного молока не тронула. Доедала только то, что после него оставалось... Когда Петька сам ногами пошел, мать еще одного братика напрыгала. Нина на нее тогда рассердилась: в семь лет она было в школу пошла, но из-за Петьки перестала ходить. Пошла во второй раз, уже в восемь... А мать опять маленького... Поэтому Ваську она невзлюбила, так матери и говорила: «За Петькой я ходить буду, а за Васькой сама смотри...»

Граня на Нинку обижалась: смотри, какая барыня, у меня младших четверо было, а старшие – братья, так я одна за всеми смотрела...

Нина матери не боялась и говорила, что думала: а на что ты их рожаешь, мне их не нужно, братьев этих. А то водкой напьетесь и скачете, а мне потом за ними ходить...

Мать с отцом смеялись: ишь какая умная...

Она и впрямь была умная. Знала, что всё от водки. Сердилась, когда видела, что мать себе водку наливает.

– Оставь отцу-то, вон чаю попей, что ты сама-то за водку хватаешься, ну, мам, мамка-а, – приставала Нина, а отец посмеивался:

– Грань, а Нинка дело говорит, ты вон чайку, чайку попей...

Но Граня пила вслед за мужем и от водки слабела, а он, наоборот, чем больше выпьет, тем становился сильнее и злее. Кричал: «Убью! Зарежу!»

И Нина всё думала: это он вхолостую кричит, чтоб только поугагать, или впрямь зарежет?.. Ножей-то у него много было: круглый, и длинный, и охотничий, и немецкий трофейный.

Нина, хоть и на мать обижалась за прибывающих братьев, но всё же ее любила, и про себя решила, что не даст отцу мать убить, – если он на мать кинется, Нинка за нее сама вступится, а нож хлебный большой в кухоньке есть на крайний случай.

«Хорошо бы только прежде комнату получить, – соображала Нина, – как отец с войны вернулся, ему сразу пообещали как инвалиду дать комнату на первом этаже, без лестницы, но уже и победа прошла, а комнату всё не давали».

Весь холодный месяц декабрь отец плел елочные корзиночки из широкой древесной щепы, крашенной фуксином и зеленкой, с розочками на ободке. А мать выходила на продажу. Иногда и Нинку посылали, но она не любила зимой торговать, больно холодно, другое дело летом. В конце декабря мать заболела. Лежала да кашляла, и Ваську бросила кормить, так что Нина стала его кормить жидкой кашей через тряпочку. Но он сильно кричал и по-взрослому есть не хотел. Так незаметно прошел Новый год, и Нина сильно переживала, что опять не ходила в школу – там обещали всем дать подарок с конфетами и печеньем, и теперь, видно, всем дали, кроме нее. Отец лежал лицом к стене неизвестно сколько дней, сначала молчал, потом велел Нинке принести от Кротихи самогону. Нина идти не хотела, но он рассердился, кинул в нее своей толкалкой и попал в самую голову. А мать лежала, кашляла громко и всё видела, да хоть бы слово сказала. Нина заплакала и принесла две бутылки. Отец одну почти сразу выпил и опьянел. Полез к матери драться. А она не то что убежать, встать на ноги не могла. Он бьет ее, а она только кашляет да кровь с лица оттирает. Братья кричат. А Нинка сжалась в комок, Петьку к себе прижала, а Ваську не взяла. Он как раз кричать к тому времени устал.

«Убить бы черта безногого, – думала Нина. – Но как тогда с комнатой быть? Без него ведь не дадут!»

Черт же безногий побушевал, допил самогон и уснул прямо на пороге, на половике. Нина материно лицо обтерла тряпочкой, и так ей стало ее жалко, что ну ее, эту комнату. А отец лежал возле самой двери, храпел, храп вырывался из его перебитого носа, и во сне поскребывал черными руками по полу, как будто ложки вырезал.

Нина посмотрела, посмотрела, дверь толкнула, она открылась на весь раствор. Чистый и твердый холод рванулся внутрь, и Нина сразу сообразила, что надо делать: она схватилась за край половика и потянула на себя, и отец перевесился через порог, а она дернула из-под него половик, и он плечами ушел за порог и рухнул вниз, грохоча об лестницу. Нина захлопнула дверь.

И сразу же заплакали оба брата, так что пришлось ей взять из горшка каши пшенной, пожевать и покормить их через тряпочку. Они пососали жамку и заснули. Матери дала попить.

Нина была умна не по годам. Легла рядом с матерью, на освободившееся отцовское место, положила рядом Ваську – пусть греется возле мамки, раз она такая горячая. Про отца подумала мельком: «Если убился, то и пусть». А если не убился, то пусть замерзнет, как Шура-пьяница замерзла в том году прямо во дворе на лавочке. А меня и не заругают, скажу, сам упал.

И она стала засыпать, и было так хорошо в постели, на мягком, тем более что сквозь сон слышался колокольный звон, праздничный и частый... «Уже снится», – успела подумать Нина.

Но не снилось. Кончилась Рождественская служба в Пименовской церкви, и сумасшедший звонарь, нарушая строгий запрет, выколачивал из последнего оставшегося колокола радостную весть о рождении Младенца. А еще через двадцать минут две боговерующие ста-

рухи, самогонщица Кротиха и ее подружка Ипатьева, вошли в заснеженный двор, продолжая волнующую дискуссию – большой ли грех было пойти в эту самую Пименовскую церковь, обновленческую, партийную, или ничего, сойдет за неимением поблизости хорошей, правильной. Всё же было Рождество, великий праздник, и ангелы поют на небеси...

С небеси падал медленный, крупными хлопьями выделанный снег и, ложась на землю, светил не хуже электричества. Безногого Василия еще не замело, и старухи заметили темный ворох на земле около лестницы. Он не разбился. И даже не проснулся от падения. И замерзнуть тоже не успел.

Старухи оттерли его, отпоили. И никто не умер. Оправилась от воспаления легких Граня, выходила еле живого маленького Ваську. И через год родила еще одного, Сашку. И комнату успели получить незадолго до смерти безногого Василия. Он вскоре после того, как комнату дали, сам и повесился. Нинка горько плакала на похоронах отца. Ей было его страсть как жалко. А что она его с лестницы бросала, она и не помнила.

А в ту Рождественскую ночь всё так хорошо обошлось.

## Коридорная система

Первые фрагменты этого пазла возникли в раннем детстве и за всю жизнь никак не могли растеряться, хотя многое, очень многое растворилось полностью и без остатка за пятьдесят лет.

По длинному коридору коммунальной квартиры бежит, деревянно хлопая каблуками старых туфель, с огненной сковородой в вытянутой руке молодая женщина. Щеки горят, волосы от кухонного жару распушились надо лбом, а выражение лица неопишное, ее личное – смесь детской серьезности и детской же веселости. Дверь в комнату предусмотрительно приоткрыта так, что можно распахнуть ее ногой, – чтоб ни секунды не уступить в этом ежевечернем соревновании с законом сохранения энергии, в данном случае – не попустить сковородному теплу рассеяться в мировом холоде преждевременно. На столе перед мужчиной – проволочная подставка: жаркое он любит есть прямо со сковороды. Лицо его серьезное, без всякой веселости – жизнь готовит ему очередное разочарование.

Она снимает крышку – атомный гриб запаха и пара вздымается над сковородой. Он подцепляет вилкой кусок мяса, отправляет в рот, жует с замкнутыми губами, глотает.

– Опять остыло, Эмма, – горестно, но как будто и немного злорадно замечает он.

– Ну, хочешь, подогрею? – вскидывает накрашенные стрелками ресницы Эмма, сильно похожая на уменьшенную в размере Элизабет Тейлор. Но об этом никто не догадывается – в нашей части света еще не знают Элизабет Тейлор.

Эмма готова еще раз совершить пробежку на кухню и обратно, но она давно уже знает, что достигла предела своей скорости в беге на короткую дистанцию со сковородкой. Муж блажит, а она, во-первых, великодушна, а, во-вторых, равнодушна: не станет из-за чепухи сосориться.

– Да ладно уж, – дает он снисходительную отмашку. И ест, дуя и обжигаясь.

Восьмилетняя дочка Женя лежит на диване с толстым «Дон Кихотом». Читает вполглаза, слушает вполуха: получает образование и воспитание, не покидая подушек. Одновременно крутится не мысль, а ощущение, из которого с годами соткется вполне определенная мысль: почему отец, такой легкий, веселый и доброжелательный со всеми посторонними, именно с мамой раздражителен и брюзглив? Заполняется первая страница обвинительного заключения...

Через семь лет дочь скажет матери:

– Разводись. Так жить нельзя. Ты же любишь другого человека.

Мать вскинет ресницы и скажет с испугом:

– Разводись? А ребенок?

– Ребенок – это я? Не смехи.

Еще года через три, навещая отца в его новой семье, выросшая дочь будет сидеть в однокомнатной квартире рядом с новой отцовой женой, дивиться на лопающийся на ее животе цветастый халат, волосатые ноги, мятый «Новый мир» в перламутровых коготках, на желудочный голос, урчащий:

– Мишаня, пожарь-ка нам антрекотики...

Отец потрепал молодую жену по толстому плечу и пошел на кухню отбивать антрекотики и греметь сковородой...

«Потрясающе, потрясающе, – поражается дочь новизной картинки. – А если бы мама тогда один раз треснула его даже не сковородкой, а сковородной крышкой по башке, могли бы и не разводиться... Господи, как всё это интересно...»

Но Симону де Бовуар тогда еще не переводили, и про феминизм еще слуху не было. А у Сервантеса об этом – ни слова. Даже скорее наоборот, посудомойка Дульсинья числилась

прекрасной дамой. Мама же к тому времени заведовала лабораторией и за счастье считала испечь любимые пирожки с картошкой своему приходящему Сергею Ивановичу.

Десятилетнее многоточие счастья: ежедневная утренняя встреча в восемь в магазине «Мясо» на Пушкинской, сорокаминутная прогулка скорым шагом по бульварному кольцу к дому с кариатидами, трагически заламывающими руки, – к месту Эмминой работы, – ежевечерняя встреча в метро, где сначала она провожает его до «Октябрьской», а потом он ее – до «Новослободской». А иногда – просто несколько кругов по кольцу, потому что так трудно разомкнуть руки.

– Что же он не оставит свою жену, если так тебя любит? – раздраженно спрашивает Женя у матери.

Они видятся триста шестьдесят пять дней в году – кроме вечеров тридцать первого декабря, Первого мая и Седьмого ноября.

– Да почему?

– Потому что он очень хороший человек, очень хороший отец и очень хороший семьянин...

– Мам, нельзя быть одновременно хорошим мужем и хорошим любовником, – едко замечает Женя.

– Если бы я хотела, он бы оставил семью. Но он бы чувствовал себя очень несчастным, – объясняет мать.

– Ну да, а так он очень счастлив, – ехидничает дочь. Ей обидно...

– Да! – с вызовом подтверждает мать. – Мы так счастливы, что дай тебе бог узнать такое счастье...

– Да уж спасибо за такое счастье... – фыркает дочь.

Десять лет спустя дочь, придавленная к стулу семимесячным животом, сидит глубокой ночью возле матери, в единственной одноместной палате, выгороженной из парадной залы особняка с кариатидами, трагически заламывающими руки, отделенная от соседнего помещения, кроме фанерной стены, еще и свинцовым экраном, долженствующим защищать ее будущего ребенка от жесткого радиоактивного заряда, спящего за стеной в теле другой умирающей.

Вторые сутки длится кома, и сделать ничего нельзя. Женя видела, как за два дня до этого мамина лаборантка пришла делать ей анализ крови и ужаснулась, увидев бледную прозрачную каплю. Крови больше не было...

Эмма была здесь своя, сотрудница, и даже всё еще заведовала лабораторией: заболела таким скоротечным раком, что не успела ни поболеть как следует, ни инвалидность получить.

На тумбочке возле кровати лежит резная деревянная икона из Сергиева Посада – подаренный кем-то Жене Сергей Радонежский. Почему-то мать попросила ее принести. Почему, почему... Сергей Иванович из тех мест...

Бесшумно вошел дежурный врач Толбиев, потрогал маленькую руку матери. Она ему отзыв на диссертацию писала... Дыхание было – как будто одни слабые выдохи, и никаких вдохов...

– Сергей Иванович просил позвонить, если что... – без всякого выражения говорит Женя.

– Иди звони, Женя. Пусть едет.

Женя пошла по длинному коридору, спустилась на полпролета к автомату. Вынула из кармана белого халата заготовленную монетку, набрала номер.

Они так жили уже два месяца: Сергей Иванович отпуск взял, приходил с утра. Женя приходила к вечеру, отпускала его и проводила в палате ночь. Для нее здесь и вторую койку поставили, но она не ложилась уже несколько ночей, боялась упустить минуту... Почему-то это казалось самым важным.

Позвонила. Он сразу поднял трубку.

– Приезжайте!

Он был всё еще женат, и жизнь его молчаливой жены была сильно омрачена. Женя и прежде об этом иногда думала: почему это все они соглашаются молчать и терпеть...

Ничего, скоро она его получит в полном объеме, – зло подумала Женя и сразу же устыдилась. Но теперь уже было совершенно неважно, что скажет сейчас его жена и что он ей ответит.

Женя поднялась на полпролета, открыла с усилием, отозвавшимся в животе, тяжелую дверь – и вдруг, как пришпоренная, понеслась по коридору, поддерживая прыгающий живот. Коридор был длинный, палата в самом конце, и Жене показалось, что бежит она целую вечность. В ночной больничной тишине стук войлочных туфель звучал как конский топот.

Дверь в палату была открыта. В палате были двое: врач и сестра.

Сестра говорила врачу:

– Я с самого начала знала, что Эммочка в мое дежурство... вот, ей-богу, знала.

Весь институт так звал ее – Эммочка. За веселую сердечность, за природное милосердие...

– Опоздала... – сказала Женя. – Господи, я опоздала.

Через сорок минут приехал Сергей Иванович. Он тоже бежал по коридору, стягивая на ходу мокрый плащ. И он сказал то же слово:

– Опоздал...

Но никто не заплакал: Женя с самого начала беременности ходила какая-то стеклянная, непроницаемая, без чувств, как под наркозом, жила, сосредоточенная на одной ноте: мальчика сохранить. А Сергей Иванович был весь как закушенный – у него был и фронт, и плен, и штрафбат, и лагерь. К жизни давно уже относился как к подарку, и особенно к этим последним годам, с Эммой. И еще он сказал:

– Почему не я...

Коридорные сны начались еще до рождения сына. В жестком белом халате Женя бежала по бесконечному коридору, по обе стороны которого часто поставленные двери, но войти можно только в одну из дверей, и никак нельзя ошибиться, скорей, скорей... Но неизвестно, какая из дверей правильная... а ошибиться нельзя, ошибиться – смертельно... всё – смертельно... И Женя бежит и бежит, покуда не просыпается с сердечным грохотом в ушах и во всем теле...

Мальчик родился в срок, здоровый и нормальный, без всяких там отклонений. Коридорный же сон остался на всю жизнь, но снился редко... Женя, чуть ли не с детства приобщенная к трудам великого шамана, еще раз пролиставла знаменитое сочинение, посвященное сновидениям. Прямого ответа доктор не давал. В ту раннюю пору доктор больше интересовался Эросом, чем Танатосом. А кушеточек психоаналитических, столь для Жени привлекательных, в то время не держали, да и не до того было.

Потом происходили всякие разные вещи – женились, разводились, разменивались, переезжали, рождались дети, у Сергея Ивановича – внуки, и у отца Михаила Александровича родилась еще одна дочь, и он успел еще развестись, еще жениться и опять развестись. Женины дети выросли почти до взрослого состояния и уехали к своему отцу, перебравшемуся в Америку, и ничто не предвещало, что они вернуться, и вся жизнь состояла из разрозненных штук, которые никак не соединялись в целое.

Наконец настал печальный год, когда отец Жени заболел медленной смертельной болезнью, которая заметна была первые годы исключительно на рентгеновских снимках и ничем более себя не проявляла. Врачи обещали пять лет жизни, вне зависимости от лечения. Оперировать легкое в столь преклонном возрасте не рекомендовали. Начало болезни совпало по времени с его выходом на пенсию и перестройкой всей страны, середина – с личной перестройкой жизни Михаила Александровича, превратившегося из преуспевающего, бодрого и слегка хвастливого профессора в угрюмого молчуна, удрученного внезапно наступившей скуд-

ностью и оживляющегося лишь при виде вкусной еды и при получении разного рода подтверждений успешности Жениной карьеры, которая должна была компенсировать его собственные неудачи.

Когда отец уже не мог сам себя обслуживать, Женя перевезла его к себе вместе с телевизором и шахматами, в которые он давно уже не играл. Болезнь шла к концу, а ему шел восьмидесятый год, и эти последние месяцы его жизни, горькие и пустые, были омрачены еще и голодом: пицевод не пропускал еды. Он постоянно хотел есть, но после трех ложек начиналась рвота. Как только рвота утихала, он просил Женю принести ему бутерброд с ветчиной. Организм, кое-как принимавший три ложки каши, отвергал бутерброд с ветчиной.

– Тебя вырвет, давай лучше бульон или яйцо всмятку, – предлагала Женя.

Тогда он сердился, кричал на Женю, а потом целовал ей руки и плакал.

Женя умирала от жалости и отвращения. Она целовала его в голову – запах волос был ее собственный, он ей всегда не нравился, и она всю жизнь мыла голову каждый день и стирала вязаные шапки и головные платки, чтобы он никогда не заводился, этот отцовский запах. И она вспомнила, как год спустя после смерти матери открыла ее шкаф, взяла в руки черное, в мелких лазоревых незабудках платье, поднесла к лицу и вдохнула не умерший запах Эммы – цветочный, медовый пот, сохранившийся в подмышках, сладчайший из всех запахов в мире... Женя износила то платье до паутины, а потом разрезала на куски и набила ими подушку-думочку...

Женя гладила старческую голову отца, его седые блестящие кудри, и думала о том, что если доживет, то и у нее будут такие красивые седины, и такие же, как у отца, ясные карие глаза, и руки, как у него – маленькие, с короткими ноготками... Всю жизнь не могла ему простить, что похожа на него, а не на мать... И сердце сжималось от тоски по матери, которая умерла так давно...

Потом стало совсем плохо. Пришла мамина подруга, известный онколог Анна Семеновна, которая все эти годы наблюдала Михаила Александровича. Он много кашлял, почти ничего не ел и всё говорил о еде. Анна Семеновна придерживалась той точки зрения, что больного не следует лишать надежды, и потому долго объясняла пациенту, что сейчас выпишет ему новое лекарство, которое снимет эту отвратительную тошноту, и он сможет есть всё, чего его душа пожелает.

– И вы скажите ей, Анна Семеновна, вы ей скажите, что я могу есть свиные отбивные, если их хорошенько отбить, – требовал он. Но требовал так слабенько, так хлипко.

«Господи, лучше сшиби меня машиной, чем превращать вот в это, сделай что-нибудь мгновенное, пожалуйста», – скулила Женя измученной душой.

Анна Семеновна сделала вечерний укол – снотворное и обезболивающее. Последние две недели делали четыре инъекции в сутки. Игла вошла в исколотую ягодицу так плавно, что отец даже не заметил. Женя позавидовала: она считала, что колет хорошо, но такого мастерства достичь не смогла.

– Ты засыпай теперь, папочка, – сказала Женя и выключила верхний свет.

– Вы скажите, Анна Семеновна, вы ей скажите, чтобы завтра она пожарила мне отбивную...

– Да, да, может быть, не завтра, а через пару дней, когда вы примете курс нового лекарства... Спокойной ночи.

Они еще сидели на кухне, пили чай.

– Вчера ему было так плохо, он был без сознания, не отвечал... Я думала, что конец. А сегодня лучше...

– Этого никто не знает. В любом случае – вопрос нескольких дней.

Она была ровесницей Эммы, совсем старая врачиха, из того самого института, давно уже переехавшего из здания с кариатидами в далекий новый район...

Женя заперла за ней дверь. Погасила свет в коридоре. Слабый свет шел из дальнего конца, с кухни. Из отцовской комнаты раздалось довольно громко:

– Ставьте вопрос на голосование! Ставьте вопрос на голосование!

«Опять бредит. Наверное, во сне», – подумала Женя.

Вымыла чашки. Вытерла чистым полотенцем. Села, опершись на стол, положив подбородок на сцепленные пальцы. Это был его жест, его поза. Всю жизнь она избегала в себе самой того, что от него унаследовала. Истребляла в себе его часть. Но все равно была похожа на него, а вовсе не на Элизабет Тейлор, на которую была похожа Эмма.

– Мама! – услышала Женя.

«Опять бредит. Бедный...»

И снова, уже громче, уже явственный зов:

– Мама! Мама!

Вышла в коридор. Постояла под дверью. Войти? Не входить?

«Не пойду!» – сказала себе. И заметалась по коридору.

– Мама! Мама! – доносилось из комнаты.

Он был не такой длинный, как коридор в старой коммуналке. И совсем не такой длинный, как в больнице. И совсем, совсем не такой длинный, как во сне. И здесь дверей было всего три, а не бесчисленное множество. Но Женя металась от входной двери к двери уборной и повторяла, как заклинание:

– Он бредит! Он бредит!

Потом он затих, и Женя остановилась.

«Ты сошла с ума, – сказала она себе, – дура припадочная!»

Но в комнату к отцу не вошла. Легла, не раздеваясь, в постель и проснулась в два ночи, когда пора было делать следующий укол.

Тихо, чтобы не разбудить, открыла дверь. В свете ночника он лежал мертвый, открыв рот в последнем крике, на который никто не подошел.

Женя опустила на край кровати рядом с мертвым отцом. Коснулась руки – температура та самая, страшная, – никакая.

– Какой ужас... Я к нему не вошла... Этот коридор...

Картинка завершилась, все ее причудливые элементы сошлись. Она знала теперь, что до конца своей жизни будет видеть этот сон, а когда умрет, то попадет туда окончательно и будет бежать по этому коридору в ужасе, в отчаянии, в отвращении к отцу, к себе самой, а в минуту счастливого отдохновения от вечно длящегося кошмара будет промелькивать навстречу милая Эмма с дымящейся сковородкой в вытянутой руке, серьезная и улыбающаяся, под деревянный стук каблучков, слегка запаздывающий относительно ее энергичного бега...

## Великий учитель

В то время, когда Варварка называлась улицей Разина, а Библиотека иностранной литературы еще не переехала оттуда в новое здание в Котельники, Геннадий Тучкин начал серьезно и самостоятельно изучать немецкий язык и несколько раз в неделю приохотился туда ездить и сидеть там до самого закрытия. Конечно, лучше было бы пойти на курсы, но сменная работа на заводе шла по скользящему графику, а курсы работали по жесткому календарю: понедельник, среда, пятница... Трудно было объяснить, почему у него, молодого человека из простой семьи, наладчика на Втором часовом заводе, возникло вдруг странное желание изучать немецкий язык. Молодые мужчины, его сверстники, работавшие рядом, тоже иногда испытывали порыв к чему-то необыкновенному и возвышенному, и они в таких случаях покупали пива или водки и питейно общались ровно до того момента, пока не кончались деньги или время.

Но пить Геннадий не любил. Его отец пропал от пьянства, и хотя уже в те годы говорили, что пьянство порок наследственный, Гена, напротив, всей своей природой пьянства не переносил и потому даже друзей на заводе не завел: ему скучно было среди мужиков. Вообще же на заводе было больше женщин, они работали на сборке, на конвейере, и казались Гене такими же одинаковыми, как часики «Победа», которые сходили в конечном счете с конвейера.

Одиночество усугублялось еще и тем, что мать после его возвращения из армии произвела обмен и прописала к себе Генину бабушку Александру Ивановну, впавшую в старческую немощь, а Гену переселила в ее хорошую комнату в коммунальной квартире в Оружейном переулке.

В семи комнатах длинной, как вагон, квартиры проживало четыре больших семейства и трое одиночек: сам Геннадий, пожилая старая девушка Полина Ивановна, помешанная на чистоте скопидомка в белых школьных воротничках, и некто Купелис, старик с большой головой на паучем худом теле, который объявлял себя латышом, но соседи подозревали в нем еврея, однако ошибались, потому что на самом деле он был скрывающим свое происхождение немцем.

Остальные были – семья милиционера Левченко, человека хитрого и дельного, но тайного пьяницы, семья Коротковых, мать с двумя взрослыми дочерьми и ее полупарализованный отец, которого никто в глаза не видал, семья зубного врача Лапутина, лечившего потихоньку на дому и включавшего во время визитов пациентов одну и ту же пластинку с гремучей музыкой, заглушающей шум бормашины. Четвертая, самая дальняя от входа комната была населена Куманьковыми с безногим сапожником Костей во главе. Куманьковых было неопределенное множество, но всегда больше семи. У них то кто-то умирал, то рождался, то уходил в посадку.

Геннадий, глядя на всяческую грязь, бедность и хамство, наблюдая соседские праздники, кончающиеся дракой, и драки, кончающиеся выпивкой, испытывал ко всем ним без исключения брезгливое отвращение – к психу Куманькову, швыряющему в своих малолетних детей и дуру жену что под руку попадет, к скупердяйке Полине Ивановне, крадущей обмылки с кухонной раковины, к тихому пауку Купелису, со своим кофейником пробирающемуся на кухню по ночам.

Особенно донимал Геннадия как раз Купелис: стена у них была общая, проницаемая для звука, и Геннадий вынужден был слушать с ночи до утра гулкие вздохи, покашливание, хрютение, сосущие звуки спускаемой и вновь набираемой клизмы, которую ставил себе Купелис, и тонкие выхлопы его больного кишечника. Общей уборной сосед не пользовался, имел персональный ночной сосуд и выносил его по ночам, перед тем как варить кофе. И Гена невольно слышал, как тот гремел тазом за стеной, мыл свою паршивую задницу и пил кофе. Раза два в месяц, обыкновенно по субботам, к нему приходили гости, в большинстве мужчины, и они вели оживленные беседы.

Несмотря на вполне удовлетворительный внешний вид, послеармейский возраст и особое обстоятельство пребывания в коллективе, где концентрация женщин на квадратный метр производства в десятки раз превышала концентрацию мужчин, что было особенно заметно в столовой в обеденные часы, Гена не завел себе подругу, хотя с самого поступления на завод девушки и тетки приставали к нему грубо и массово. Это и отвадило его смотреть в их сторону. К тому же у него была юношеская травма: он встречался с одной девушкой еще до армии, и она обещала ждать его возвращения, но на втором году службы вышла замуж.

Он теперь был что-то вроде старой девы: не то чтобы женский пол его совсем не волновал, но страх перед женским коварством пересиливал притяжение. Время от времени какая-нибудь заводская девушка даже приглашала его в кино или на танцы. Поначалу он страшно смущался, каждый раз заново выдумывая какой-нибудь приличный предлог уклониться, а потом придумал одну отговорку на все случаи: как раз в этот день я не могу, обещал мать навестить... Из глупой честности он иногда даже и навещал в этот день мать, но чаще проводил вечер в библиотеке.

Редкие знакомства с новыми людьми тоже происходили в библиотеке, и люди эти ничем не были похожи на прежде ему известных по школе, по армии и по заводу. Самым ценным знакомством был Леонид Сергеевич, немолодой уже, полноватый и длинноволосый, вида барского, но довольно потрепанного. Они долго присматривались друг к другу, бросали взгляды на корешки книг, которые брали у стойки, пока Леонид Сергеевич не обратился к Гене первым, сказав, что существуют гораздо лучшие учебники и пособия по немецкому языку, чем те, что у него в руках, и тут же указал ему в каталожном ящике несколько книг. После этого случая они, сталкиваясь в зале или в коридоре, беседовали, поначалу о немецком языке, о котором новый знакомец говорил как о живом и любимом существе, отмечая его великие достоинства:

– По лексическому богатству почти как русский! – он воздевал руки к небу, но не особенно высоко, на уровень плеч. – Но грамматические формы гораздо более разнообразные! Исключительно высокоорганизованный язык! Позволяет выразить очень тонкие временные отношения!

Леонид Сергеевич превосходно владел немецким языком, но переводил он обыкновенно вовсе не с немецкого, а с многих других – с монгольского, языка хинди и урду, с персидского и туркменского. Словом, с какого хочешь. Переводил он стихи по подстрочникам, и уже одно это сильно отличало Леонида Сергеевича от всего остального человечества.

Но главным делом жизни этого ученого и немолодого господина были все-таки переводы с немецкого языка, и притом одного-единственного автора. Прошло много месяцев, в течение которых Гена провожал Леонида Сергеевича домой, беседовал под дождем и снегом о разных удивительных материях, прежде чем Гене было доверено имя великого учителя, книги которого заново переводились на русский язык именно Леонидом Сергеевичем.

– Видите ли, Гена, в жизни человека нет ровным счетом ничего случайного, даже вот эта наша сегодняшняя беседа заложена была в великий замысел Творца от самого сотворения мира.

И тут Гену пробрала дрожь по спине от самой шеи до копчика, потому что он проникся величием минуты... Удивительный человек Леонид Сергеевич – о чем бы ни говорил, всё было значительно и таинственно и отличалось от всего остального, что говорили другие знакомые Гене люди, как ананас от редьки.

Генина бабушка была верующая, но глупая простота ее веры нисколько Гену не прельщала, Леонид же Сергеевич говорил о Творце и Творении, о воле, познании, тайне и пути такими словами, что Гена готов был провожать не только что от улицы Разина до Солянского тупика, – что расстояние сравнительно небольшое, – но хоть на самый край света. Так, постепенно, километр за километром, месяц за месяцем вызревали отношения Гены и Леонида Сер-

геевича до того, что было ему названо имя великого учителя: доктор Рудольф Штайнер. Так, на немецкий манер, произносил Леонид Сергеевич это волшебное имя.

Вскоре Леонид Сергеевич пригласил его к себе домой, в отдельную квартиру, всю уставленную шкафами с книгами, увешанную картинами и даже украшенную двумя скульптурами, из которых одна была по виду чисто мраморная. Красивая, невероятно даже красивая жена Леонида Сергеевича в настоящем кимоно подала им чай и ушла в другую комнату, показав спину в белых хризантемах по лиловому полю. Леонид Сергеевич торжественно отодвинул матерчатую шторку в глубине секретера и открыл перед Геной лик учителя. Это была фотография красивейшего, как американский киноактер, человека с откинутыми назад волосами и с шелковым бантом-галстуком, слегка придавленным сюртуком.

От фотографии как будто исходил жар. Возможно, Гена не мог уловить истинного источника этого необъяснимого жара, можно допустить, что он исходил от самого Леонида Сергеевича, но, так или иначе, минута была особая, такого потрясения Гена не испытывал ни разу в жизни, – разве когда в армии попал в аварию, и грузовик, на котором везли солдат, сорвался в пропасть – в Таджикистане, где и пропасти, и дороги были самыми что ни на есть смертельными, – и пока грузовик кувыркался, приближаясь к каменистому дну, он не то молился, не то звал бабушку, и тогда уцелели только двое, Долган Изетов, переломавший все кости, и он, Геннадий Тучкин, с большой шишкой посреди лба...

И в тот день Гене была доверена – с предостережениями, указаниями, наставлениями – первая книга, не самого Учителя, а его последователя по фамилии Шюре.

– Всякое подлинное знание несет в себе опасность, – сказал Леонид Сергеевич на прощанье, – и опасность эта как духовная, – потому что чем выше поднимается душа по лестнице познания, тем большая на нее возлагается ответственность, – так и самая прямая: знайте, что учение Штайнера давно уже под запретом, и пока надо содержать это знание в тайне, но приближаются времена, когда всё это должно выйти на свет и изменить мир до неузнаваемости, потому что мир спасается через познание мудрости...

И снова по спине у Гены побежала волнующая дрожь, и, уложив в подаренный по этому случаю портфель завернутую опасную драгоценность, он пошел домой пешком и к середине ночи добрался до дома, а в общественный транспорт даже и не подумал заталкиваться, потому что боялся растерять это сладкое волнение в позвоночнике...

Как переменилась жизнь Геннадия! Ту, прежнюю свою жизнь он видел теперь как растительное существование, а теперешняя, новая, вся была мысленная, парящая, подвижная, полная таких красот неизреченных, что он с огромной жалостью смотрел теперь на всех простых людей, которые жили, ели, пили и ничего, совершенно ничего не понимали. Теперь же ему открывалось такое грандиозное знание о мире, об устройстве космоса, о великих энергиях, о прекраснейшей лестнице, предназначенной для тех, чей разум пробужден к Добру и Любви...

Всё наполнилось новым смыслом, даже механическая работа наладчика становилась священнодействием по исправлению мельчайших ошибок в рукотворных грубых машинах, и он научился восхищаться механическими узлами из низкосортного металла как Творением Господа, потому что видел теперь в разумной деятельности человека отсвет Высшего Разума...

Он читал доктора Штайнера, его бесконечные лекции, и через них знакомился с индийской философией, с представлениями Гёте о мире, с некоторыми каббалистическими идеями, и образ коровы, лежащей на лугу в астральном облаке и жующей свою жвачку, преобразовывая один вид энергии в другой и дающей божественный напиток – молоко, даже изменил его вкусы: молоко, которого прежде не любил, он стал пить с наслаждением, начал есть мед, который тоже оказался божественным. И вообще весь мир, если правильно на него смотреть, из грубого и грязного превращался в прекрасный и возвышенный. И самой восхитительной из идей казалась Геннадию идея духовных иерархий, великой лестницы, по которой поднимается всё

сущее, наполняясь смыслом и духом, и самое драгоценное зерно заключалось в том, что высшие иерархии жертвовали чем-то во имя низших, вызволяя их из хаоса неосмысленности...

Леонид Сергеевич гордился талантливым учеником, разъяснял ему разные не совсем понятные тонкости и просил Гену не торопиться в познании, поскольку слишком быстрый подъем мог опасно отозваться на физическом здоровье. Он, видя глубокую привязанность Геннадия, предостерегал его также и от излишнего ее проявления, даже объяснил ему, как страдают люди после смерти любимых домашних животных именно по той причине, что привязанность бывает так сильна, что образуется общее астральное тело, и, когда животное умирает, то хозяин испытывает сильные боли в области желудка, потому что сращение астральных тел происходит именно на уровне солнечного сплетения, и надо учиться контролировать свои привязанности даже по отношению к учителям. А может быть, особенно по отношению к учителям...

Несколько раз, как будто невзначай, он упоминал о своем непосредственном учителе, великом знатоке теософии и антропософии, о его знакомстве в юношеские годы с самим доктором Штайнером, то есть о прямой преемственности учения, которое передавалось, помимо книг, напрямую, из рук в руки...

Два года Гена возрастал в познаниях. Немецкий язык, который он начал изучать по непостижимой прихоти, оказался теперь просто хлебом насущным. Леонид Сергеевич доставал ему теперь книги доктора на языке оригинала. Они были изданы в Риге, в двадцатые годы, имели вид довольно бедный, зато на полях пестрели заметки, неизвестно чьей рукой сделанные на немецком и русском языках. Читать их было нелегко, но Гена мужественно продирался сквозь метафизические дебри, а Леонид Сергеевич консультировал его. Это было отдельное удовольствие – визит Гены к Леониду Сергеевичу на дом, – с чаем, малютками-печеньями «безе» из рук красавицы жены в вечно-лиловом кимоно, в кабинете, посреди книг и картин. Иногда, покончив с консультацией, Леонид Сергеевич читал ему свои переводы из восточной поэзии: монгольские всадники скакали через степи, индийские красавицы со слоновьими плавными движениями предавались сладострастным играм с принцами, а современные каракалпакские поэты с той же восточной цветистостью воспевали социалистическое переустройство жизни...

По прошествии времени Леонид Сергеевич заговорил с Геной о совершенно тайном деле: оказывается, где-то в Москве проводились семинары по самой важной книге доктора, которая называлась – голос понизился до шепота – «Пятое Евангелие».

Тут Гене пришлось признаться, что он не читал предыдущих четырех. Леонид Сергеевич развел руками:

– Ну, знаете ли!

И тут же снял с полки небольшую черную книжечку. Гена благоговейно взял ее в руки и страшно удивился:

– Леонид Сергеевич, да у моей бабушки точно такая же есть! Она только ее всю жизнь и читала...

После длительных переговоров, проволочек и дополнительных расспросов Леонид Сергеевич объявил Гене, что вскоре начинается семинар. Семинар ведет его, Леонида Сергеевича, учитель для лиц продвинутых и практикующих десятилетиями, но в виде исключения Гене, новичку, было разрешено участвовать в семинаре.

Гена затрепетал: к этому времени он научился от Леонида Сергеевича боготворить того учителя, его мудрость, огромные познания во всех областях, включая и медицину, и фантастический жизненный опыт.

– Он один из немногих оставшихся в живых участников строительства храма доктора в Дорнахе, сгоревшего в начале тридцатых годов, – Леонид Сергеевич поднимал голубые, в мелких красных жилках от усиленного чтения, глаза к небу. – А среди участников строительства были Андрей Белый, и Максимилиан Волошин, и Маргарита Сабашникова... – и понизив

голос до еле слышного, сделал последнее признание. – И мой покойный отец провел там одно лето... Но об этом нельзя говорить, совсем нельзя, – и он замолчал, глубоко сожалея, что сказал лишнее...

Наконец настал важнейший день: Леонид Сергеевич повел Гену к учителю. Гена, вычищенный и отглаженный, в новых брюках, встретился с Леонидом Сергеевичем возле памятника Маяковскому, и пошли они под мелким весенним дождичком в знакомую Гене сторону: как бы к его дому. Потом сделали небольшой крюк и пришли именно к Гениному дому, но со стороны старинной, в сине-белом кафеле молочной. И подошли к подъезду. Взволнованный Геннадий даже забыл узнать свой собственный подъезд и только возле самой двери понял, что стоит возле своей квартиры.

Леонид Сергеевич нажал кнопку с полустершимися буквами: «Купелис».

Через несколько минут раздалось знакомое шарканье домашних туфель. Купелис отворил дверь. Леонид Сергеевич испустил лучезарную улыбку. Купелис изобразил подобие приветствия. У Гены застучало в висках, он побагровел и, оставив в растерянности Леонида Сергеевича, пронесся в конец коридора, судорожно сжимая ключ от своей комнаты.

Не снимая плаща, он бросился ничком на кровать и заплакал. Как! Вместо доктора Штайнера, с его прекрасным южным лицом, с шелковым галстуком-бантом, слегка примятым сюртуком, оказался этот гнусный головастик, с его ночными горшками, клизмами и тазами, с тайным ночным кофеем, скверно поджатыми губами, самый противный из всех соседей, урод, паук!

Кто-то стучал в его дверь, но он не открывал. Он плакал, забывался, снова плакал. Потом встал, снял плащ, сбросил ботинки. Бормотанье разговора за стеной давно закончилось. Скоро раздастся клизменный звук, потом грохот таза... Но вместо всего этого в коридоре зазвонил телефон: это была Генина мать. Плача, сказала, что умерла бабушка, чтоб Гена приезжал.

Гена взял такси и поехал на Хорошевское шоссе, где в большом фабричном доме в двухкомнатной квартире жила его мать, мамина сестра с дочкой Леной и парализованная бабушка, которая теперь вот умерла.

Свет включили во всех комнатах, а в материнской, кроме большого света, еще горели свечи, и пожилая женщина в черном читала из той самой черной книжечки Евангелия, которые Гена к тому времени уже успел прочитать. Назавтра откуда-то привезли облачение – черную мантию и шапочку – и надели это на умершую. И приходили какие-то в черном старухи и старики, читали не совсем понятное по церковно-славянски, и Гена недоумевал, почему такая важная суэта происходит из-за смерти его бабушки, тихой, почти бессловесной, которая пять лет как была парализована, лежала себе да ожидала смерти.

Хоронить ее повезли в Хотьково, на бывшее монастырское кладбище, но прежде отпевали в Лавре. Лицо ее было покрыто белой тканью. Вдруг возникла на ровном месте какая-то волнующая тайна: кем-то важным и значительным оказалась его смиренная бабушка, а он и не догадывался. Старый священник, из здешних, рассказал потом Гене, что бабушка его Александра Ивановна, сестра Ангелина, была из последних духовных детей последнего оптинского старца, ушла в мир, когда закрыли монастырь, работала уборщицей, приняла в голод двух сирот, его мать и вторую девочку, которая стала ему теткой, вырастила их. Что была она прекрасна душой, кротка, как голубь, и мудра, как змей... И читала всю жизнь одну-единственную книгу – это самое Четвероевангелие...

Геннадий взял отгулы на работе. Ему надо было привести в порядок свои мысли и чувства, а также многие знания, которые он приобрел в последние годы. Он провел всю неделю у матери на Хорошёвке. Там был зеленый район, он много гулял и всё жалел, что теперь никогда не узнает, что же такое написано в «Пятом Евангелии». Но никогда не узнает также, кем была его парализованная бабушка. Может, тоже Учителем? Он думал, думал, ни к чему не пришел, только взял да и поменялся со своей двоюродной сестрой: она как раз собиралась замуж, и ей

отдельная комната была очень нужна. А что до Купелиса, то ей-то это было совершенно все равно...

## Дезертир

В конце сентября 1941 года на Тильду пришла повестка о мобилизации. Отец Ирины уже работал в «Красной Звезде», разъезжал по фронтам и писал знаменитые на всю страну очерки. Муж Валентин воевал, и писем от него не было. Расставаться с Тильдой было почему-то трудней, чем с Валентином. Ирина сама отвела Тильду на призывной пункт. Кроме Тильды, там было в коридоре еще восемь собак, но они, поглощенные непонятностью события, почти не обращали друг на друга внимания, жались к ногам хозяев, а одна молодая сука, шотландский сеттер, даже пустила от страху струю.

Тильда вела себя достойно, но Ирина чувствовала, что ей не по себе: уши подрагивали на кончиках, и она слегка била хвостом по грязному полу. Из кабинета вышел понурый хозяин с немецкой овчаркой с низкой посадкой. Головы не поднимая, буркнул «забраковали нас, по зрению» и ушел с собакой на поводке... Проходя мимо Тильды, овчарка приостановилась, проявила интерес. Но хозяин дернул за поводок, и она покорно пошла за ним.

Сидящий рядом старик держал руку на голове пожилой овчарки. Она была крупная, вчетверо больше Тильды. Ирина подняла Тильду на руки – пудель был как раз того промежуточного размера, между комнатной собачкой и настоящей, служилой. Старик посмотрел на Тильду, улыбнулся, и Ирина осмелилась спросить то, что было у нее на сердце:

– Я вот всё думаю, как же они смогут ее использовать: она раненого с поля не вытащит. Разыскать человека она может, ну, сумку медицинскую она может тащить... Но чтоб раненого...

Старик посмотрел сочувственно – теперь уже на Ирину.

– Деточка, эти мелкие собаки – противотанковые. Их обучают, чтобы они бросались под танк, а к брюху бутылку с зажигательной смесью привязывают... Вы что, не знаете?

«Дура, дура, как сама не догадалась! Представляла почему-то Тильду в повязке с красным крестом, и как бы она честно служила, бегала по полям сражений, разыскивала раненых, приносила им помощь... А оказывается, всё совсем не так: ее натренируют проскальзывать возле гусениц танка и выскакивать, и она будет много раз повторять этот легкий трюк, чтобы потом, однажды, кинуться под немецкий танк и взорваться с ним вместе».

Повестка лежала в сумке у Ирины. Ее принесли четыре дня тому назад, и Ирина с собакой пришла на призывной пункт час в час и день в день, как назначено. Перед ними в очереди оставалось еще два человека и две собаки: старик с немецкой овчаркой и женщина с кавказской. Ирина встала и, на пол не спуская притихшую Тильду, вышла из коридора.

До дому шли пешком минут сорок, от Беговой до улицы Горького. Ирина поднялась в квартиру, собрала маленький чемоданчик вещей первой необходимости, потом подумала и переложила их в рюкзак. Она решила совершить преступление, и совершать его надо было как можно незаметнее, а чемодан на улице скорее бросался в глаза, чем рюкзак.

В рюкзак положила Тильдины обе миски, для воды и для еды, и подстилку. Тильда сидела возле двери и ждала: понимала, что сейчас уйдут.

И ушли – пешком, на Покровку, сначала к матери Валентина, в дом, откуда Тильда была родом: Валентин был ее первым хозяином. Через несколько дней перебралась к подруге на Писцовую. Почти каждый день она ездила домой, на улицу Горького, открывала ключиком почтовый ящик, но всё не находила того, за чем ездила: письма с фронта от Валентина. А вот на Тильду пришло еще две повестки, и обе, замирая от страха, Ирина тут же порвала мелко и выпустила, выйдя из подъезда, прямо в ледяное жерло метели, которая бесновалась всю ту зиму, первую зиму войны.

Отец редко приезжал в Москву, непрерывно мотаясь по фронтам: он был одним из главных летописцев и этой войны, и прежней, испанской...

В первый же его приезд Ирина рассказала ему о дезертирстве Тильды. Он молча кивнул. Навестил собаку на Писцовой. Последние годы Ирина с мужем жила в большой квартире отца, и Тильда давно поняла, что главным хозяином над всеми был именно он, старый, а не первый, молодой.

Полчаса он просидел в чужой бедной комнате, и Тильда сидела с ним рядом, устремив в него магический животный взгляд.

Перед уходом он пошутил:

– Ее надо переименовать: вместо Тильды – Дези.

Тильда, услышав свое имя, подняла голову. Лизнула руку. Она не знала, что ее избавили от смерти под танком, в центре адского взрыва, и умрет она теперь своей смертью, пережив и войну, и главного хозяина, и пуделиные кости ее будут лежать в лесочке, в приметном месте возле большого камня на обрыве, недалеко от дачи...

А вот где сложил свои кости Валентин, так никто и не узнал: он пропал без вести – навсегда.

## Кошка большой красоты

Сначала ушли старые животные: тяжелый и мощный кот Лузер с огромной кривоухой башкой не вернулся однажды с ночной гульбы да так и пропал, через месяц сбежала Лада – не сбежала, а сковыляла, – потому что давно уже еле двигалась. Ее нашли в перелеске недалеко от дома, в скользкой яме, с трудом притащили домой, отмыли от гнилой глины бело-рыжую шерсть, и она тихо умерла под руками хозяев.

Потом засобирался и сам хозяин. Сначала инфаркт, потом грохнул инсульт. Он сидел с упавшей половиной лица в вольтеровском кресле и молчал. Хозяйка Нина Аркадьевна принесла домой взрослого котенка большой красоты – для оживления домашнего пейзажа и целебного животного тепла, но хозяин почти не замечал новую кошку, автоматически поглаживал ее левой рукой, когда ее совали ему на колени. Она была черно-белая и так расписана от природы, что лучше не придумаешь: белая манишка, белые чулочки на передних лапах и носочки – на задних. Размера была небольшого, полудетского, не пушиста, а скорее бархатиста, и глаза – янтарно-зеленоватого цвета. Назвали ее просто, но по-английски – Пусси.

Нина Аркадьевна была английской переводчицей, переводила английских классиков и вела семинары по теории перевода.

Потом хозяин, так и не подружившись с новым животным, умер. А кошка, не выполнившая возложенной на нее миссии, прижилась. По характеру она была чудовище и несколько этого не скрывала: она ластилась к ногам, вспрыгивала на колени и немедленно выпускала острые когти – даже хозяйка вся была в ее маленьких отметилах. Когти она выпускала из мягких лап мгновенно, как ядовитая змея выбрасывает голову в броске. Таким же неуловимым движением она цапала кормящую ее руку, норовя провести царапину подлиннее.

Когда хозяйка снимала телефонную трубку и говорила: «Алле!» – кошка немедленно отзывалась особым предостерегающим мявом. Давала поговорить минуту-другую, снова подавала голос, а потом спрыгивала с кресла – удивительное дело, что при необыкновенной грациозности поз, в движении она была довольно неуклюжа: с прыжка приземлялась тяжело, как большой котятра. После приземления она медленно проходила по квартире в поисках наиболее уязвимого места – хозяйкины домашние туфли, шарфик на подзеркальнике, подушка, – куда и гадила.

Нина Аркадьевна, уже натренированная, бросала трубку, разыскивала следы ее подлости и убирала, горестно и совершенно бесплодно указывая ей на грехи.

Потом на кошечку напала первая охота. Из розового треугольника пасти шла пена, и она уже не коротко мявкала, а орала, катаясь по полу и по дивану и раздирая обивку. Хозяйка изнемогала, соседи жаловались.

Кошке привезли породистого кота, но она, возможно, по молодости лет не знала, как использовать его по назначению, тем не менее из вредности характера сначала ложилась, приподняв зад, а потом, когда жених приближался с серьезными намерениями, молниеносно переворачивалась и драла его честную морду. Кот потерпел поражение, но Пуська тоже не выглядела победительницей.

Нина Аркадьевна, дама в возрасте, благородного происхождения и хорошего воспитания, не одобряла Пуськиного поведения, но деваться было некуда: у нее был принцип любви к животным. Не то чтобы чистая любовь, а сложившаяся установка: в нашем доме любят животных... И она терпела.

Проорав неделю, Пусси успокоилась, но через три месяца всё повторилось: опять привозили котов, опять она их гоняла, и всё не находилось такого, которому бы она отдала свое сердце...

Потом были рассмотрены два варианта: открыть перед Пусси дверь на улицу, пустив дело на простонародный самотек, или кастрировать. Начали с первого – выпустили во двор. Чернобелая красавица немедленно взлезла почти на самую верхушку голого мартовского тополя и там, на тонкой ветке, принялась орать. Кажется, не от страсти, а от страха. Слезть она не могла, хотя сделала попытку: развернулась вверх хвостом, вниз головой, исключительно неуклюже, и в таком противоестественном состоянии провисела на дереве почти трое суток, оглашая двор непрерывными воплями. Жильцы всех семи этажей не могли спать ночами, пока не догадались вызвать пожарную машину, благо участок находился в ста метрах от дома. Попав в руки взволнованной хозяйки, Пусси пропоролла когтями кожаную перчатку и окровянила ей кисть.

Следующим шагом была стерилизация. Добросовестная хозяйка нашла лучшего ветеринара, чудаковатого, но преданного своему делу, и отвезла Пуську в ветлечебницу, где за бешеные деньги ей произвели операцию.

Нина Аркадьевна, враг насилия вообще и кастрации в частности, испытывала некоторые угрызения совести, тем более, что вид наркотизированного животного был исключительно жалок: глаза были полузакрыты, из пасти сочилась слюна. Доставила бедное животное, завернутое в махровое полотенце, в лечебницу и привезла домой после операции бывшая студентка Нины Аркадьевны, преданная Женя.

Дома всё устроили с большим комфортом – корзинка, подушка, подстилка. Прочухавшись от наркоза, кошка немедленно начала выгрызать швы, так что Нине Аркадьевне пришлось срочно вызывать ветеринара, которого Женя и доставила. Ветеринар немедленно надел на кошку предохранительный воротник в стиле Марии Медичи, который к утру она изгрызла в мелкую крошку.

Швы зажили довольно быстро, но Нина Аркадьевна тем не менее ночей не спала, укладывала Пуську себе под бок и спала воробыным сном, боясь раздавить страдалицу. Своих детей она вырастила так давно, что уже забыла о том, что раздавить ребенка во сне не так уж и просто...

Три следующие месяца прошли в обычном режиме: умная кошечка гадила в самых уязвимых местах, однажды вынула из рамки фотографию покойного мужа и изгрызла в труху, заставив Нину Аркадьевну плакать от огорчения и беспомощности. Гостей Пусси по-прежнему не переносила: драла колготки приходящим студенткам, а одному заезжему англичанину располосовала руку, когда он по невинности пытался ее погладить. Боялась Пусси только одного предмета – половой щетки. Секрет этого уважения знала приходящая домработница Надя, которая пару раз прошла по кошкиному боку. Хозяйка дивилась авторитету половой щетки, но прибегала к нему, показывая Пусси волосатого врага каждый раз, когда страсти особенно накалялись. Увидев щетку, Пусси замирала, потом пятилась и вспрыгивала повыше – на книжные шкафы, на буфет, – где замирала в грациозной позе, подняв лапу или выгнув спину.

Нина Аркадьевна, дама с повышенным эстетическим чувством, тоже замирала – от восхищения: красавица! Грета Гарбо в мире кошек!

Спустя три месяца после операции кошка снова начала орать дурным голосом и кататься по диванам. Хозяйка позвонила ветеринару и робко спросила, почему такая горячка напала на кошечку, коли она стерилизована?

Врач неожиданно возмутился:

– За кого вы меня принимаете, уважаемая? Неужели вы думаете, что я стал калечить животное и удалять яичники? Я просто перевязал ей трубы! Так что совершенно естественно, что она не лишена обычных для здоровых животных инстинктов!

Тут терпеливая Нина Аркадьевна впервые заплакала. Снова привезли кота. Пусси на этот раз проявила к нему благосклонность, и кошачья свадьба состоялась. Брачные призывы, лишившие Нину Аркадьевну сна и аппетита, закончились. Всё прочее продолжалось. Несмотря на тщательную уборку и постоянную стирку и чистку вещей, хозяйка, как и ее дом, пропи-

тывались стойким специфическим запахом, который ощущался каждый раз, когда входили в квартиру с улицы. Видимо, кошке иногда удавалось найти недостижимые для уборки места...

Нина Аркадьевна принималась к каждой кофточке, которую на себя надевала, душилась крепким мужским одеколоном и страдала. Но после смерти мужа она даже немного радовалась мелким страданиям, потому что они отвлекали от главной потери... Вообще же она радовалась всему, что ее отвлекало от постоянной печали и пустоты теперешней жизни.

Когда Нине Аркадьевне предложили провести семинар в Новосибирске, она тоже обрадовалась. Случилось так, что старый ее приятель, профессор-искусствовед, сам попросился пожить в ее квартире, чтобы спокойно поработать в отсутствии домашних визгов и неурядиц, которые его сильно донимали, и закончить книгу. Он обязался кормить кошку. Нина Аркадьевна дала ему ключ, указала на капризы газовой колонки, запасла кошачьего корма и улетела, предупредив напоследок, что характер у кошки сложный, но не сложнее, чем у его жены и дочери. Главное – не выпускать на улицу.

На второй день после отъезда хозяйки, когда Пусси еще только приглядывалась к новому жильцу, он вышел к мусоропроводу с помойным ведром, плотно прикрыв дверь, но не захлопнув. Вернувшись, он увидел Пусси, сидящую перед дверью. Он схватил ее и впихнул в квартиру: не хватало, чтобы кошка сбежала! Отнес мусорное ведро на кухню, а когда оглянулся, увидел, что в коридоре, выгнув спины и шипя, стоят друг против друга две совершенно одинаковые кошки. Пока он осмысливал этот факт, кошки уже взвились в воздух и, как ему показалось, провисели в трепещущем комке довольно продолжительное время. Одна из них определенно была Пусси, вторая – ее двойник. Ему удалось не без труда разнять рычащий комок, схватить одну из кошек и затолкнуть в дальнюю комнату. Комнаты были смежные, замка между ними не было, дверь ходила свободно, и, всё еще держа вторую кошку в истерзанных руках, он метался по квартире, соображая, как закрепить дверь. Наконец всунул в дверную ручку палку от швабры и выпустил вторую кошку из рук. Она кинулась на дверь с яростью смертника...

Всю неделю он провел безвыходно в квартире с двумя враждующими кошками, жонглируя дверями и замками. Он попробовал вызвать для опознания кошки молодую подругу Нины Аркадьевны, о которой было сказано, что в случае возникновения каких-либо проблем она немедленно придет на помощь. Женя приехала по первому же зову, сразу же опознала в предьявленной кошке хозяйскую, но, заглянув в дальнюю комнату, усомнилась: вторая была точно такой же, только черные ушки были опушены белой бахромой. Она взяла кошку на руки, та мгновенно выпустила когти и провела сразу четыре борозды. Теперь Женя ломала голову: по характеру она была точно Пусси, а белую опушку на ушах она могла просто не запомнить – небольшие такие белые волосики на самых остриях ушей... Решили до приезда хозяйки оставить всё как есть...

Нина Аркадьевна, приехав через неделю, сразу же, как в известной русской сказке, определила нужную сестру, и не по ушам, а по голосу. При внимательном рассмотрении оказалось, что опушка имеется у обеих, но у настоящей Пусси она была чуть пожиже. На волю они вышли одновременно: обезумевший от переживаний профессор – и душой не отдохнувший, и не поработавший, – и Пуськин двойник.

Пусси обрадовалась восстановлению прежнего мира, потерялась головой о ноги хозяйки и ночью пришла спать к ней в постель. И даже немного помурлыкала, хотя вообще относилась к редкой разновидности немурлыкающих...

Нина Аркадьевна рассказала по телефону дочери, давно уже живущей в Америке, о забавном происшествии, и это имело неожиданные последствия – дочь стала настойчиво приглашать ее приехать на Кейп-Код, где на лето снимали дачу.

– Пристрой кошку и приезжай! Что за добровольное рабство! Раз в жизни проведешь лето с внуками, мама, – жестко сказала дочь. И добавила: – Здесь рай. Океан, песчаный пляж, сосны. Похоже на Прибалтику, но тепло.

Нина Аркадьевна согласилась. Три года она не видела дочери и внуков из-за болезни мужа, потом из-за траура, потом ссылалась на кошку, которую не с кем оставить. Всё это было именно так, но, кроме того, Нина Аркадьевна терпеть не могла своего зятя... Будучи англо-манкой, она и Америку недолюбливала. Но местом жительства ее дочери была Новая Англия, самое английское место Америки, да и внуки тянули – три года не виделись. Собралась ехать на всё лето. Только вот с кошкой надо было как-то решать: то ли к ней поселять служительницу, то ли ее куда-то на время определить. Анекдот с двойником не забылся, и начались поиски подходящих людей – любящих животных, с соответствующими жилищными условиями. Волну погнали по всей Москве, и вскоре нашлась подходящая парочка: пожилые супруги, бездетные, жена даже внештатная сотрудница журнала не то «Мир животных», не то «Животный мир».

Решено было, что Женя отвезет Пусси к этим добрым людям на следующий день после отъезда хозяйки. Что и было сделано...

Родня приняла Нину Аркадьевну сердечно: дочь и внуки с искренней любовью, зять – с твердым намерением обойти все издавна накопившиеся противоречия. Сама страна тоже старалась понравиться с первых же минут, начиная от прекрасных видов уже по дороге из Бостона на Кейп-Код. Никакой западной замкнутости не обнаружила Нина Аркадьевна в американской жизни своих детей: дом, как и в Москве, был полон друзьями, все те же русские пьянки и русские разговоры, хотя часто они велись по-английски. Даже американский выговор, всегда казавшийся ей вульгарным, теперь представлялся забавным. Хотя и дочь, и ее муж говорили отвратительно. Но, несмотря на это, в компьютерном деле, где работала и дочка, и ее муж, они были уважаемыми людьми... Прославленная американская бездуховность и тупость не бросались в глаза, скорее удивляла чистота и новизна всего, на что ни падал взгляд. Особенно вечно белые носочки внуков. Они как будто не пачкались. Белая толстая кошка и рыжая собака тоже были исключительно чистенькими и, что самое поразительное, постоянно спали, свернувшись в общий клубок. Младшая внучка обращалась с животными как с плюшевыми игрушками: таскала за лапы, наряжала в шляпки. Кошка не мяукала, собака не лаяла...

Хозяйка огорчалась, глядя на эту идиллию: вспоминала Пусску и ее стержневой нрав...

– Что-то не так я делаю в жизни, – с печалью думала она. – Ах, да всё я делаю не так...

За неделю до отъезда Нина Аркадьевна пришла к важному решению: позвонила в Москву Жене и попросила ее найти для Пусси новых хозяев:

– Надо отдать ее в хорошие руки. И если можно, за город. Да, да! За город! Чтобы был участок, где она могла бы гулять. Вроде зимней дачи. И хорошо бы организовать всё до моего приезда...

Женя взялась за дело не спустя рукава: всех обзвонила, всех опросила. Тех, кто Пусску знал, можно было не обзванивать – самоубийц не нашлось. Тех, кто ее не знал, Женя честно предупреждала: кошка редкой красоты и дурного нрава. За день до приезда Нины Аркадьевны Женя, совершенно не справившись с первой частью задания – относительно хороших рук, – принялась за вторую.

Началась эвакуация. Женя подъехала к трехэтажному дому на Сретенке и, поднимаясь по лестнице, чем выше, тем определеннее чувствовала, что здесь живут люди, беспредельно любящие кошек: смрад стоял такой, что только любовь могла его победить. Женя поднялась на третий этаж. На всех лестничных площадках стояли кошачьи миски. На перилах, свесив хвосты, сидели две кошки, задумчиво глядя перед собой. На дверной ручке нужной квартиры висели два пакета, а под дверью лежали три больших газетных свертка, аккуратно обвязанных бечевкой. Вне всякого сомнения, это была кошачья уборная, предназначенная к выносу на помойку.

Женя позвонила, звонок промолчал. Однако дверь открыли. Муж и жена, маленькие и худенькие, бледненькие и сильно поношенные, стояли и улыбались.

– Она с нашими не подружилась, – сообщила жена. – Такой конфликт! Характерами не сошлись.

Женя протянула мужичонке деньги, и он незаметным движением сунул их в карман, не сказав ни слова.

– Ни с Муськой, ни с Пал Иванычем с Лаской – ни с кем, – подтвердил муж.

– Мы ее отдельно поселили! – с гордостью сказала жена и повела по длинному коридору. – Вот здесь у нас Муська, она отдельно живет, она Пал Иваныча обижает, – указала жена на первую дверь, – а здесь Пал Иваныч, сибирский кот, старый уже, и Ласка, его внучка, они дружат, – махнула рукой в сторону второй двери.

Далее была комната, в которой содержалась собака. В последней, четвертой, гостевала Пуська.

– У нас раньше коммуналка была, а теперь дом под снос, всё наше стало, – объяснила кошатница, – уезжать-то не хочется, выселят куда-нибудь в Бибирево.

– И хорошо, Валя, чего ж плохого, с Каштаном будем в лес ходить гулять, – откуда-то раздался тонкий тявк – собака отозвалась на имя. – Он у нас умница, но тоже старичок. Приблудился...

Мужичок вынул из кармана связку ключей и открыл последнюю из дверей. На высоком платяном шкафу сидела Пуська. Она была не черная, а пыльно-серая, грустная и одичавшая.

– Не вылизывается, – горестно заметила кошатница. – Скучает. Прямо душа за нее болит, уж так скучает. Иди, иди сюда, девочка моя, сейчас домой поедешь.

Пусси сидела в своей знаменитой египетской позе, не шелухнувшись.

Ловили ее долго. Когда, наконец, она оказалась в руках, Женя только подивилась, куда девался угольный блеск ее шерсти и как посерела белая манишка... Паутинная пленка лежала на ее плече... И, что удивительно, она молчала.

Женя посадила ее в спортивную сумку, задвинула молнию и заботливо оставила несколько сантиметров для проветривания, чтоб не задохнулась...

– Мы вас проводим, проводим, – наперебой защебетали кошатники и, подхватив газетные свертки возле двери, пошли гуськом за Женей. Когда они вышли из подъезда, целая гурьба кошек возникла как из-под земли, выгнув спины и задрав хвосты.

– Голодные... Покормим, покормим... Сегодня всех покормим, – горделиво сказал муж, похлопывая себя по карману...

Женя поставила сумку с Пуськой на заднее сиденье, помахала рукой причудливой парочке, всё стоявшей в обнимку со своими газетными ворохами, и отъехала. Предприятие было неприятным, но вынужденным. Настроение у нее было неважным.

На Садовом кольце Женя ощутила спиной, что в машине что-то происходит. Она даже не успела сообразить, что именно, – по салону метался темный комок, издававший звук, более всего похожий на громкое змеиное шипение. Она подала машину вправо – в шею ей сзади впились острейшие когти. Прожгло болью. Вцепившись всеми четырьмя лапами, Пуська заорала. Забыв включить поворотник, Женя причалила к берегу. Отчаянно гудели машины, но никто в нее не въехал. Рывком оторвала Женя кошку от себя. Зажав дергающийся комок, она вышла из машины, открыла дверцу и запихала животное обратно в сумку, затянув молнию до конца.

Кровь текла по спине, по рукам, большой кровавой развод был на щеке. Но Женя рванула с места и понеслась. Маршрут ей был прекрасно известен. Свернула на Каляевскую, выехала к Савеловскому вокзалу, потом переулками дорулила до известного ей пролома в бетонной стене, окружавшей Тимирязевский парк. Вышла из машины, прихватив сумку. Перешла через железнодорожные пути, нырнула в еще один пролом – дальше начинался парк. По тропинке Женя вышла на полянку и открыла сумку. По-видимому, кошка была не менее ее самой потрясена происшедшим. Не торопясь, Пусси вылезла из сумки. Огляделась. Села на травку и начала вылизываться. Женя стояла в нескольких шагах от нее. Розовый язык подробнейшим образом

пробежал по самым недоступным местам кошачьего тела, и за ним тянулась сверкающая полоса обновленной шерсти. Из серой кошка на глазах становилась черной, блестящей, бархатной. В сторону Жени и головы не поворачивала, внимательно пролизывая пахи. Белые чулочки на лапах только мелькали. Помывшись, Пусси замерла в одной из своих страннейших поз – подняв вверх переднюю лапу.

– Значит, так, – сказала Женя. – Вот тебе загород. Гуляй, лови мышей. Вот там стоят три дома – это больница. Оттуда будут выходить люди и давать тебе еду. Живи на природе, и никому здесь твой характер не помешает. Поняла?

Кошка поняла. Она отвернулась от Жени и пошла прочь – не торопясь и даже несколько вразвалку. И исчезла в кустах, не оглянувшись.

Некоторые метафорические кошки скребли у Жени на душе. Она не смогла выполнить поручение старшей подруги. Но она любила Нину Аркадьевну больше, чем та любила свою кошку. Назавтра Женя, облепленная пластырем, поехала встречать ее в Шереметьево. У Нины Аркадьевны был огромный багаж, они взвалили на тележку все ее чемоданы, потом перегрузили в багажник машины и поехали.

– Ну, как? – спросила Нина Аркадьевна, вклинив маленький и незначительный вопрос между своими огромными впечатлениями. – Пуську удалось пристроить?

Женя кивнула.

– За городом? – спросила Нина Аркадьевна.

Женя вздохнула, ожидая подробных расспросов, и снова кивнула.

Но больше Нина Аркадьевна к этому вопросу не возвращалась.

Возможно, так бы всё и кончилось. Неприятный осадок от происшедшего у Жени прошел бы, и всё бы зажило и зарубцевалось, включая глубокие царапины на шее и на спине. Но прошло недели три, а может, целый месяц, и Нина Аркадьевна долго и с удовольствием беседовала с Женей по телефону, говорила о своей новой работе и слегка, очень тонко, укоряла Женю за то, что та бросила благородный труд переводчика художественной литературы и ушла на фирму, торгующую с юго-восточной Азией какой-то пахучей дрянью, как вдруг в трубке раздалось короткое требовательное мяуканье. Разговор замер на полуслове. Пауза длилась долго.

Наконец, Женя спросила:

– Она вернулась?

Пауза всё длилась и длилась.

– Нет. Она у вас?

– Нет, что вы! – испугалась Женя и даже оглянулась. Никаких кошек и в помине около нее не было.

– Так откуда в трубке мяуканье? – тихо спросила Нина Аркадьевна.

– Не знаю, – честно ответила Женя.

Так до сих пор никто не разгадал этой загадки.

## Том

Том жил у Мамахен уже пять лет, но рабский характер его так и не переменялся: он был предан, вороват, восторжен и труслив. Боялся громкого голоса, резких звуков, в особенности хард-рока, всех трех кошек, проживающих в квартире, катящегося в его сторону мяча и звонков в дверь. От страха он спасался под кроватью у Мамахен, разбрызгивая за собой дорожку упущенной мочи. Но больше всего он боялся потеряться во время прогулки. В первые месяцы он выходил из дому только с Мамахен, справлял свою нужду рядом с подъездом, сразу же прижимался к парадному и скреб лапой дверь. Когда Мамахен тянула его за поводок в сторону переулка, он подгибал задние лапы, круглил спину, опускал голову между передними лапами, и с места сдвинуть его было невозможно.

В семье было решено, что он родился домашней собакой, потом потерялся, довольно долго жил бездомным и так настрадался, что когда Мамахен привела его в дом, он счастьем своему не мог поверить. Он был тогда совсем молодым кобельком, что по зубам определил ветеринар, которого Мамахен сразу же пригласила: собака должна быть здоровой, если в доме четверо детей... Ему дали имя и вылечили от глистов и от клещей, гроздьями висевших на шее.

– Породистые собаки не бомжуют, они быстро погибают, – объяснил ветеринар. – А этот бэпэ, беспородный, стало быть, жизнеспособный...

Витек прибил к дому позже Тома. Кто-то из внуков Мамахен привел его впервые, и он стал захаживать, и всё чаще, и сделался в доме незаменимым человеком. Мамахен не сразу его заметила, она вся была сосредоточена на музейной части, то есть на передней комнате, где и находился музей ее деда, знаменитого русского художника, благодаря славе которого у подъезда висела памятная доска «Музей-квартира...», повешенная Луначарским в раннесоветские времена и сохранившая квартиру наследникам без уплотнения.

Мамахен была хранительницей музея, получала небольшую зарплату, два раза в неделю принимала посетителей в парадном зале, а в остальное время писала статьи, выступала на конференциях и, когда приходилось туго, продавала дедов рисунок или театральные эскизы. Она всегда плакала, когда приходилось продавать, но при этом замечала, что цены на работы деда вообще-то имеют тенденцию подниматься, и потому она всегда сильно огорчалась, что за дешево продала в прошлый раз.

Витек, как и Том, домом дорожил. Он как-то постепенно переместился на жительство в темную комнату, разгреб на сундуке уютное место и спал там среди семейного хлама, накопившегося за сто лет в этой музейной квартире. А где он жил раньше, было неизвестно: говорил, по друзьям.

Незаменимость Витька проистекала из его редкого качества: он был утренний человек, поднимался с рассветом, когда бы ни лег, в веселом и легком расположении. Вскакивал, как неваляшка, и шел гулять с Томом, освобождая сердобольную Мамахен от ранней прогулки. Мамахен вовсе не была утренним человеком, но жалела терпеливое животное и, кряхтя, вставала. А дочери ее и внуки все были исключительными совами, раньше двенадцати не вставали.

Витек же, приволакивая дефектную от рождения ногу, доходил с покорным Томом до ларька на Смоленской, покупал молока и сигарет для Мамахен, и тут терпение Тома кончалось, и он несся в сторону дома, натягивая поводок с Витьком. Том доверялся Витьку больше, чем самой Мамахен – даже с ней он на такое большое расстояние от дому не отходил. Он, видно, чувствовал в Витьке приживальщика, такого же, как и он сам.

Мамахен – с большой головой, в лохматом лиловом халате – уже сидела на кухне, сонная и молчаливая. Витек варил кофе для Мамахен, чай для себя и овсянку на всех. Тому доставалось полкастриюли.

Потом Витек мыл свою тарелку, выпуская из крана совсем маленькую струйку воды. Он был большой экологист, экономил природные ресурсы и ненавидел пластиковые пакеты.

– Так я пошел, Софья Ивановна. Соньку сегодня в школу не веду, она всё болеет... Или какие-нибудь поручения есть?

– Иди, иди... – давала отмашку Мамахен. – У тебя что, работа сегодня?

Чудачка, она как будто запомнить не могла, что работал Витек сторожем «сутки – трое» и выходил обыкновенно с вечера.

– Женя, Наташина подруга, попросила помочь обои поклеить, но я к вечеру перед работой зайду, вы с Томом не выходите...

– А, Женя... – рассеянно кивнула Мамахен, и Витек ушел.

Мамахен же поплыла к себе в комнату, где убрала большие волосы в сложный пучок, надела на себя просторное синее платье с круглой эмалевой брошкой размером с яблоко, побрызгалась одеколоном из синего флакона с пульверизатором, а потом взяла ключ и пошла в залу, которая в неприсутственные дни стояла запертая от детей и внуков. Тома в зал тоже не пускали, и он остался в комнате у Мамахен, спрятал серое, волчьего цвета тело под кровать, но высунул оттуда умную ушастую голову и положил на войлочные домашние туфли хозяйки. Морда его выражала высшую степень довольства жизнью. Возможно, что эти войлочные туфли он любил даже больше, чем самое Мамахен.

Много часов Том спокойно подремал под кроватью: день складывался удачно – Мамахен прикрыла за собой дверь, так что ни одна из кошек не могла войти. Они, видимо, спали в дальних, детских комнатах.

Среди дня Мамахен вошла, что-то взяла в столе, выпила пахучие капли. Погладила Тома по голове и снова ушла.

Вечером пришел Витек, крикнул из прихожей:

– Эй, кто-нибудь! Дайте мне Тома, чтоб мне не проходить!

Том услышал и вышел сам. Нагнул голову, чтоб Витек прицепил поводок к ошейнику, и они пошли вниз по лестнице. Снизу шел – и всё усиливался – знакомый и страшный запах, из прошлой жизни Тома: смесь старой крови, алкоголя, гнилой помойки, смертельной болезни. Воздушная тревога – вот что это было.

Том жался к ноге Витька, но тот хромал как ни в чем не бывало – не чувствовал опасности. А внизу под лестницей помещался мощный источник запаха. Том тихонько зарычал от страха, но Витек ничего не заметил, и они вышли на улицу. Справив свою быструю нужду, Том замер у подъезда в полной потерянности: на пути домой стояло препятствие в виде пугающего запаха. Нежный Витек склонился, потрепал по шее:

– Ты что? Чего испугался, дурачок? Домой, домой!

Том пятился, топтался, приседал на задние лапы.

– Ну, не знаю... – удивился Витек, немного постоял возле скрючившегося Тома, потом погладил его и взял на руки. Том был собакой немаленькой, на руки его со щенячьего возраста не брали, и он забился в Витьковых руках, но новый страх лег на старый, и Витек вволок его в подъезд, а там Том спрыгнул с рук и понесся на третий этаж с невиданной прытью. Витек отпустил поводок и пошел враскачку, удивляясь странному поведению собаки.

«Нервный», – подумал Витек.

Он и сам был нервный, его три года в психоневрологическом санаторном учреждении мать держала. До четвертого класса.

Вечером Витек ушел на свою суточную работу, а наутро Мамахен обнаружила, что Том налил в прихожей. Его все стыдили, и даже кошки смотрели на него с презрением. Но, несмотря на позор, Тому пришлось идти на улицу, поскольку Мамахен надела шубу и взялась за поводок. Он тащился за ней по лестнице – позади, а не впереди, как обычно, и слегка упирался, показывая, что ему совершенно не нужно на прогулку. Но у Мамахен случались такие воспи-

тательные приступы именно по отношению к Тому, потому что все прочие ее совершенно не слушали, а Том старался ей угодать. Они дошли до первого этажа, и запах был всё тот же, и даже еще сильнее, но Мамахен его не чувствовала.

Она открыла внутреннюю дверь парадного: ровно посередине, между двумя старинными дверями, недавно отреставрированными, лежала исполинская куча, исполненная тем самым, который вонял под лестницей.

– О, боже мой! – воскликнула Мамахен, едва удержав сапог от унижения и пошатнувшись. Она натянула поводок, но Том туда и не рвался.

– Домой! Домой! – скомандовала Мамахен, и они потопали вверх по чудесной просторной лестнице, спроектированной дедушкиным другом архитектором Шехтелем.

«Немедленно позвонить в домоуправление и сказать Витьку, чтоб расшил дверь черного хода», – приняла быстрое решение Мамахен.

Но в домоуправлении телефон не отвечал – то ли сломан, то ли там выходной, – догадалась Мамахен. Она предупреждала всех просыпающихся детей и внуков, чтоб случайно не вляпались, радовалась, что сегодня неприсутственный день, и никто из посетителей не увидит эту кучу.

Зять Миша впервые в жизни взял в руки клещи и пошел к черной двери расшивать доски, набитые через несколько лет после установки стальной двери на «белом» входе, – после того, как кто-то из детских друзей, зашедших с черного хода, не высмеял их общей безмозглости: зачем вора вломать стальную дверь, если на черном ходу, кроме древнего крюка, вообще ничего нет...

Вечером Мамахен плохо себя чувствовала, лежала в своей комнате и страдала от громкой нехорошей музыки, доносившейся от внуков, от дурного настроения и смертельной усталости, которую испытывала при мысли, что подлая куча всё еще лежит между дверями подъезда.

Какой это был чудный дом до революции! На доме висело всего две памятные доски, а можно было бы повесить десяток. Вся русская история побывала в гостях у этого дома: Толстой, Скрябин, Блок, не говоря уже о более поздних и менее великих...

Витек, возвращаясь с работы, увидел, как бомж, кривой и мятый, как плохо надутый воздушный шар, большими корявыми пальцами пытается набрать код. Витек остановился поодаль, испытывая странное замешательство: душой он не принадлежал к тем, кто жил за кодовыми замками, он был хиппи-переросток, мальчик за сорок, бродяга, кое-какой поэт, брэнчавший много лет на гитаре, прочитавший десяток книг, привыкший жить, не думая о завтрашнем дне, по-птичьи, знал, что от настоящего дна его отделяет неуловимый волосок – он много лет жил без паспорта, без дома, без семьи, и родной его город оказался за границей, мать давно спилась, сестра потерялась, отца почти никогда и не было... Он стоял и ждал, сможет ли нищий подобрать цифру, и решил, что в парадное его не впустит.

«Значит, я скорее из тех, чем из этих», – ухмыльнулся Витек с грустным чувством социального предательства.

Бомж справился с набором, и тут Витек догадался, кому принадлежала куча между дверьми и пустая водочная бутылка, которую он прихватил в подъезде вчера вечером, уходя на работу.

«Вот сволочь, спит под лестницей и здесь же гадит», – возмутился Витек, и сразу же усмехнулся своему возмущению. Он был настоящий интеллигент рабоче-крестьянского происхождения, хотя и полностью деклассированный.

Он вошел сразу за бомжем. Неубранная куча угадывалась под несколькими слоями сплюснутых картонных ящиков. Витек стоял, положив руку на закругленное окончание перил, и ждал решения сердца. Это был давний его прием: если не знаешь, что делать, стой и жди, пока само не решится. Само и решилось – из-под лестницы спросили:

– Парень, ты здесь живешь? Стаканчика не найдется?

Витек заглянул внутрь. В негустой темноте к стене прислонен был ворох тряпья, из которого и раздавался голос. За пять шагов било в нос.

– Сейчас принесу, – ответил Витек.

– Может, одеялко какое или что, – пробурчал смрадный ворох.

Витек принес стакан. И никакого одеяла. Поставил стакан на пол возле бомжа.

– Чего стоишь? Налить, что ли? – спросил тот.

– Нет, я не пью. Спасибо. Я только хотел тебя попросить... Ты оправляться на улицу выходи. Ты же спишь здесь...

– А-а... учитель... Пошел ты... Двадцать градусов на дворе...

Рожа у него была страшная, в редкой бороде, отекая и сизая.

«Бедная Мамахен – чуть в кучу не вляпалась», – подумал Витек и опять улыбнулся сам себе: нашел, кого жалеть...

– Топай, топай отсюда, все учителя... – глухо проговорил нищий, а остального Витек уже не расслышал.

На следующее утро Витек взял на поводок Тома и повел на улицу. Про расшитый черный ход ему не сказали. Том слегка упирался, и теперь Витек знал, почему тот упирается: бомжа боится.

– Пошли, пошли, Том. Не бойся, дурачок...

Том чувствовал запах опасности и звуки невидимого присутствия.

Вышли во двор. Том по-сучьи слил всё в один прием, не заботясь о мужской метке, оставляемой хозяевами жизни. Желтая нора протаяла в девственном снегу, выпавшем за ночь. Витек дернул за поводок, пошли к ларьку на Смоленскую площадь, купили молока и сигарет для Мамахен. Было морозно, безлюдно и не вполне рассвело. Но снега было много, и он светился своим самородным светом.

Было воскресенье. Канун Нового года. Витек медленно думал о том, что день сегодня будет суматошный, его будут посылать то за солью, то за майонезом, придется стоять в очередях в Смоленском гастрономе, а потом Мамахен непременно вспомнит, что забыла отправить кому-то бедному и заброшенному поздравительную телеграмму, и придется еще стоять в очереди на почте, и какие они все прекрасные люди, и сама Мамахен Софья Ивановна, и обе ее дочки, и шальные внуки, особенно маленькая Сонька, и что хорошо бы после Нового года уволиться со сторожки и поехать, например, в город Батуми, где тепло и растут мандарины...

Скрежет тормозов, удар, рычание газа – черная машина вывернула из Карманицкого переулка и свернула в Спасопесковский. Они совсем уже подошли к дому. Том вдруг остановился. Витек дернул за поводок. Пес уперся всеми лапами, сгорбился, опустил голову и спрятал хвост между задними лапами.

– Ну, что с тобой, Том? Домой! Домой пошли!

Витек погладил круглую спину – собаку била крупная дрожь. Она пятилась, не поднимая головы. Витек оглянулся. Из-за сугроба торчали две ноги, две жуткие ноги в остатках кроссовок, обмотанные грязнейшими бинтами. Витек обошел сугроб – это был тот бомж. В утренней тишине еще был слышен рокот мотора сбившей его машины. Шапка лежала на дороге. Голова была повернута под таким углом к телу, что живым он быть не мог. Витек присел на корточки, сгорбившись, рядом с Томом. Его тоже била дрожь. Он обнял пса и почувствовал полное с ним единение: это был ужас смерти, единый для всех живых существ здешнего мира.

А теплая куча, оставленная бомжем, остывала в подъезде дома напротив. Простого дома, без кодового замка.

## Тело красавицы

Виктор Иванович, преподаватель военного дела по прозвищу Пимпочка, долго проверял, как вбиты колышки и натянуты палатки, три из восьми свалил и велел натягивать заново. Только закончили оборудовать лагерь, сняли квадрат дерна под костер, как пошел дождь. Сварили чаю в большом котле и поели из домашних запасов, но песен не пели, как собирались. Распределились по палаткам, которые изнутри были сухие, а снаружи мокрые. Праздник с самого начала не задался. В середине ночи проснулись от звонкого злобного крика:

– А-а-а! – визжал женский голос. – Всем нужно мое тело, никому не нужна моя душа!

Между палатками металась Таня Неволина, десятиклассница, взмахивая на каждом повороте распущенными волосами и прижимая к груди не то подушку, не то свернутое одеяло. За ней бегал Виктор Иванович, пытался ее остановить и запихнуть в палатку, но она не давалась, истерически орала:

– А-а-а... Всем нужно только те-е-ло-о...

Но истеричкой Таня не была – такой припадок случился с ней однажды в жизни и никогда не повторялся.

У нее действительно было такое тело, и лицо, и волосы, что вся улица на нее смотрела, когда она в школьной форме с портфельчиком переходила дорогу. Душой она была скромная и тихая девочка, не любила быть на виду, и к шестнадцати годам успела утомиться от мужских взглядов, от приставаний, от трамвайного лапанья. Нежная девичья душа яркой красавицы так желала идеальной любви, что выработала в себе тонкое противоядие: с пятого класса она дружила с невзрачным Гриней Басом, первым отличником класса. По ее ошибочной логике, он, умница, должен был ценить ее душу, и до конца седьмого класса он ее очень ценил. Но летом после окончания седьмого класса Гриня претерпел возмужание, которое красоты ему не прибавило, скорее даже подпортило, и гормональная перестройка нарушила чудесный платонизм прежних отношений. Гриня начал производить руками движения, которые Таня первое время рассматривала как случайные, но вскоре догадалась, что интеллектуальный Гриня, невзирая на свое умственное превосходство, жаждет прикосновений точно так же, как дурак сосед Власов, и все дворовые, и школьные, и уличные мальчишки, и даже взрослые мужчины. Пока Гриня мацал в темноте кинотеатра ее руку, Таня терпела, но когда, провожая, загнал в угол парадного и, зажмурившись, положил сразу обе лапы на твердые конусы с пуговками на вершине, она взвыла, вскинула руки, плоско ударила его по лицу сумочкой и, громко плача, побежала на третий этаж, унося от Грини свою непосильную красоту.

Гриня, налитой стыдом и страстью, долго стоял в парадном, прижимая ладони к горящему лицу. Потом понуро пошел домой, стесняясь прохожих, стен и всего божьего света, хотя от посторонних взглядов он был защищен вечерней темнотой.

Таня тем временем рыдала в духоту подушки, мягко принимавшей в себя бессмысленные девичьи слезы. На следующий день, в понедельник, оба они не пришли в школу – из страха друг на друга посмотреть. Таня сказала матери, что болит горло, а Гриня просто прогулял.

Таня весь день проплакала, в перерывах же смотрела в зеркало на свое кукольное лицо, корчила уродливые рожи и растягивала пальцами то губы, то нос. Ей хотелось быть другой, – какой именно, она точно не знала – может, как Мнацаканова, с длинным тонким носом, интересной, или как курносая Вилочкина, смешной, пусть даже как Валиева, узкоглазой, с кривыми зубами, заметной и даже привлекающей своей некрасивостью...

«Все девочки люди как люди, а я – чучело какое-то», – подумала она и заплакала со свежими силами, предчувствуя великую проблему красавиц, претендующих на сохранение личности...

С Гриней Басом она совершенно раздружилась, и он еще год ходил в ту же школу, всё смотрел на нее издали сумрачно и непрестанно, а потом родители перевели его в математическую, но он Таню всё преследовал своими тоскливыми глазами – то ждал ее в подворотне, то подстерегал возле школы. Бросал короткий близорукий взгляд на сияющую белизну – подробности ее лица не отпечатывались, только белое сияние, – и исчезал, не делая ни малейших попыток к общению: никогда слова не произносил, даже не здоровался. Таня отворачивалась и делала вид, что не замечает. Теперь она больше ему не доверяла. Он был как все – хотел ее красоты.

Имеющие разнообразные способности одноклассницы жаждали красоты, для чего прикладывали усилия – выщипывали и подрисовывали брови, приукрашивали себя одеждой или заметным поведением, дерзким и вызывающим.

У Тани, кроме красоты, никаких способностей не было – училась средненько, и при большом старании всё получалось между тройкой и четверкой, и даже во второстепенных предметах, как пение, рисование или физкультура, и то не могла достичь успеха.

«Способности средние», – говорили учителя, но Таня относилась к себе строже: способностей никаких...

В десятом классе все стали заниматься с большим рвением, готовились в институт, но Таня выбрала себе место по силам – решила поступать в медицинское училище, чтобы стать медсестрой, и хорошо бы, в детском учреждении: с маленькими детьми ей было лучше всего – они ничего не требовали от ее красоты.

На выпускной вечер Таня пошла, но платье белое, как велела мода тех лет, надевать отказалась, хотя мама и купила. Пошла в юбке с кофтой, получила свой посредственный аттестат, посидела в углу школьного зала, пока одноклассники танцевали, и даже гулять с ними, как полагается, на ночную Красную площадь не пошла. Танцевать ее, между прочим, никто и не приглашал: красота ее была недосыгаема, а выражение лица слишком уж абстрактное.

Таня ушла с вечера довольно рано, и Гриша Бас, в парадном костюме, в новых очках и при галстуке, заглянул в свою старую школу, когда Тани уже не было. Он добрел до ее дома, посмотрел на темное окно и исчез. Через два дня его нашли на школьном чердаке в петле. Он был мертв. Никакого письма он не оставил. В кармане нашли старую шерстяную рукавицу. Никто не знал, что она Танина.

Узнав об этой ужасной истории, Таня содрогнулась: она сразу поняла, что это из-за нее, хотя никто ей такого не говорил. На похороны она не пошла: страшно было выставить на обозрение свое лицо и тело.

Таня сдала экзамены в медицинское училище на тройки с четверками, и ее приняли, и опять она была самой красивой среди девочек. Мальчиков на курсе почти не было, один хромой Тихонов Сережа с детской мордочкой. В детстве у него был костный туберкулез, и приняли его с большими колебаниями – туберкулезным не полагалось работать по медицинской части. С ним Таня и подружилась. Однокурсницы посмеивались. Сережа, как когда-то Гриня Бас, норовил Тане помочь, весь первый год провожал домой, ныряя на каждом шагу в левую сторону. Летом у него сделалось обострение старой болезни, его положили в туберкулезный институт, и Таня ездила его навещать на улицу Достоевского.

В метро и в трамвае к ней постоянно приставали молодые и средних лет мужчины, но она давно всех их видела насквозь: они хотели ее красивого светлого лица, укрытого с боков скобками грубоватых русых волос, ее ног под длинной не по моде юбкой, ее тела, красота которого будто просвечивала через любую одежду вопреки Таниному намерению быть незаметной.

Сережа от нее ничего не хотел. У него были сильные боли, и он даже не очень любил, когда Таня его навещала.

В середине лета ему сделали операцию, и когда Таня пришла к нему в послеоперационную палату с яблоками «белый налив», он побросал яблоки, сказал, чтобы она к нему больше не ходила, и отвернулся лицом к стене – плакать. Тогда она его сама поцеловала.

Всё лето и осень она ездила к нему в туберкулезный санаторий, а в конце зимы они поженились, к большому неудовольствию родителей: Танина мама умоляла ее не выскакивать так рано замуж, да еще за инвалида, Сережина Таню невзлюбила с первого взгляда, потому что была сильно верующей, и Танина красота казалась ей подозрительной. Она сердилась еще и потому, что никак не могла уразуметь, для чего эта красавица выбрала себе ее хромого сына, и предвидела подвох: может, ей квартира приглянулась. Но, в конце концов, разрешила сыну жениться при условии, что прописываться к ним Таня не будет. Танина мать, сломленная ее непонятным упрямством, согласилась, но с тем же условием: чтоб мужа Таня домой не приводила.

Из училища Сережу отчислили из-за открывшегося туберкулеза. Он сидел дома, готовился поступать в другое место, на связиста, чтобы работать на телефонной станции. Когда он поступил, Таня как раз вышла на работу. Распределили ее в районную больницу. Сначала ее направили в операционный блок, но через полгода перевели в процедурный кабинет: с хирургией у нее что-то не заладилось – не было в ней ни сноровки, ни сообразительности. Зато в процедурном кабинете всё получалось у Тани – сложного ей не поручали, кровь из вены она брала хорошо, даже дети ее не боялись, и она одна могла уговорить маленького пациента потерпеть немного и не дергаться, когда надо было попасть иглой в вену.

С мужем Сережей было не очень ладно. Дома он был тихий и спокойный, но стоило им куда-нибудь выйти, как он нервничал, становился груб и обидчив. Чуть что не так, сразу поворачивался и шел домой, а Таня следовала за ним издали, потому что всегда немного за него боялась. Дело было в том, что на них всегда сильно смотрели незнакомые люди: удивлялись, как и Сережина мама, что нашла эта красавица в хромом и невзрачном мальчике. От этих взглядов он приходил в озлобление. Танина красота мешала Сереже ее любить, и красоту своей жены Сережа возненавидел.

Больше всего она ему нравилась, когда плакала. У нее быстро набухали глаза, краснели ноздри, и рот опускался углами вниз. Но все равно, даже плачущая, она была похожа на актрису Симону Синьоре. В техникуме у Сережи завелась мужская компания, и он там оказался сразу же не на последних ролях – был старше всех, единственный женатый. С этой новой компанией Сережа стал выпивать, а выпив немного, делался злым и жестоким. Два раза он поколотил Таню, и Таня ушла к маме, даже не взяв из мужнего дома зимние вещи – пальто, шапку и почти новые сапоги.

Все, кроме Сережи, остались очень довольны Таниным уходом – и Танина мама, и свекровь. Сама Таня осталась в убеждении, что никого ей не нужно, лучше уж одной, и несла свою ни к чему не пригодную красоту так, как другие носят горб.

Сережа два раза приходил к Тане на работу к концу смены – мириться. Один раз она его увидела первая и убежала, а другой раз он ее выследил, просил прощения и звал домой. Но Таня только головой качала, ничего не говорила. Сережа был немного пьян, и под конец разговора он неожиданно ударил ее по лицу. Не сильно, но сам покачнулся и чуть не упал.

Таня всё сильнее уверялась в том, что красота – вещь совсем напрасная – никому не приносит счастья. Скорее, наоборот. У нее к этому времени уже набрался большой материал – не очень молодой хирург Журавский влюбился в нее без памяти, жена его приходила в отделение, чуть не набросилась на Таню с кулаками. Пошла к заведующему, и кончилось тем, что Таню перевели в поликлиническое отделение.

Здесь Таня хорошо прижилась. Заведующая Евгения Николаевна, припадающая от застарелого коксартроза на обе ноги, как такса, собрала свой персонал любовно и поштучно. Она обладала редким дарованием сострадания к людям, всем была бабушкой, то слишком строгой,

то чересчур снисходительной. Как будто на краю ее дивной природы была какая-то взбалмошная извилина, о которой она, впрочем, знала и постоянно себя выравнивала. Как и все окружающие, она поначалу отнеслась к Тане, то есть к ее слепящей глаз красоте, подозрительно. Приглядевшись к ней внимательно, быстро раскусила Танину тайну – обремененность красотой – и исполнилась сочувствия.

Почти все сестры были пожилые, спокойные, семейные, относились к Тане по-матерински, и ей было очень хорошо среди белых халатов, а особенно хорошо ей стало, когда Евгения Николаевна определила ее в лабораторию, к собравшейся на пенсию лаборантке, чтобы та передала ей свое искусство разглядывать предметные стекла с мазками крови, считать лейкоциты и определять протромбин...

Теперь она сидела в маленькой лаборатории, с больными мало общалась, только два раза в неделю брала кровь из вены. Это у нее получалось лучше всех.

Так прошел год, и другой. Танина мама забеспокоилась: уже перевалило за двадцать пять, и никого, кроме неудачного Сережи, не было у красавицы дочери. Хоть бы не замуж, хоть бы так кого завела. Ничего подобного. Рабочий день по вредности биохимической работы кончался рано, в четыре Таня уже была дома, ложилась спать, к шести вставала, убиралась, готовила всегда одну и ту же еду, борщ и котлеты, и либо садилась у телевизора, либо уходила с подругой Мнацакановой в кино. Мать, женщина одинокая, но с постоянными любовными приключениями, не поощряла такого образа жизни. Даже пыталась Таню знакомить то с начальником цеха с завода, где сама работала, то с одним человеком, которого завела на отдыхе, на юге, но по какой-то причине не использовала по назначению. Таня сердилась на мать и даже высокомерно отчитала ее:

– Мам, да таких мужиков, как ты мне подсовываешь, полные троллейбусы, таких-то я могу завести хоть дюжину.

– Вот и заведи, – порекомендовала мать.

– А зачем? – холодно спросила Таня. – Им всем одного надо.

Мать обиделась и немного рассердилась:

– А ты что, особая? Тебе не надо?

Таня посмотрела васильковыми глазами, прикрыла их своими рекламными ресницами, покачала головой:

– Нет, мне такого не надо.

– Ну и сиди с кошкой, – вынесла мать приговор.

И Таня сидела с кошкой.

«Кошке нет дела до красоты, ей важна душа», – думала Таня.

Понемногу Таня толстела, бледнела. Из тонкой девушки превратилась в молодую женщину, еще более притягательную для мужского глаза: талия оставалась тонкой, бедра-груди раздалились, а руки-ноги легкие, детские – зрелый кувшин, только пустой...

И всё толстела, и всё бледнела, и плавности, и медлительности прибывало, и походила уже на Симону Синьоре в возрасте.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.